

БОРИС АКУНИН  
ГРИГОРИИ ЧХАРТИШВИЛИ

КЛАДБИЩЕНСКИЕ  
ИСТОРИИ



*В книге искусно переплетены вполне строгие историко-научные изыскания о кладбищах, захоронениях и иных местах упокоения умерших.*

*Кто-то из двоих — то ли Акунин, то ли Чхартишвили — даже подшучивает: «Ещё я узнал, что я тафил, «любитель кладбищ», — оказывается, существует на свете такое экзотическое хобби (а у некоторых мания). Но тафилем меня можно назвать лишь условно — я не коллекционировал кладбища и могилы, меня занимала Тайна Прошедшего Времени: куда оно девается и что происходит с людьми, его населявшими».*

*Читатель в этой книге может выбрать то, что его занимает более — малоизвестный рассказ о приключениях Эраста Фандорина или же очерк-исследование о кладбище Пер-Лашез, месте, где, по мнению автора, только и можно встретить ту Францию, которую каждый человек с детства создаёт в своём сознании: *aventure, mystere, amour...**

# Борис Акунин Григорий Чхартишвили Кладбищенские истории

## Разъяснение

Я писал эту книгу долго, по одному-два кусочка в год. Не такая это тема, чтобы суетиться, да и потом было ощущение, что это не просто книга, а некий путь, который мне нужно пройти, и тут вприпрыжку скакать негоже — можно с разбегу пропустить поворот и сбиться с дороги. Иногда я чувствовал, что пора остановиться, дождаться следующего сигнала, зовущего дальше.

Дорога эта оказалась длиной в целых пять лет. Началась от стены старого московского кладбища и увела меня очень-очень далеко. За это время многое изменилось, «и сам, подвластный общему закону, переменился я» — раздвоился на резонера Григория Чхартишвили и массовика-затейника Бориса Акунина, так что книжку дописывали уже вдвоем: первый занимался эссеистическими фрагментами, второй беллетристическими. Еще я узнал, что я *тафофил*, «любитель кладбищ» — оказывается, существует на свете такое экзотическое хобби (а у некоторых и мания). Но тафофилом меня можно назвать лишь условно — я не коллекционировал кладбища и могилы, меня занимала Тайна Прошедшего Времени: куда оно девается и что происходит с людьми, его населявшими?

Знаете, что кажется мне самым интригующим в обитателях Москвы, Лондона, Парижа, Амстердама и тем более Рима или Иерусалима? То, что большинство из них умерли. Про ньюйоркцев или токийцев такого не скажешь, потому что города, в которых они живут, слишком молоды.

Если представить себе жителей действительно старого города за всю историю его существования как одну огромную толпу и взглянуть в это море голов, окажется, что пустые глазницы и выбеленные временем черепа преобладают над живыми лицами. Обыватели городов с прошлым живут, со всех сторон окруженные мертвецами.

Нет, я вовсе не считаю старые мегаполисы городами-призраками. Они вполне живы, суетны и искрятся энергией. Речь о другом.

С некоторых пор я стал чувствовать, что люди, которые жили раньше нас, никуда не делись. Они остались там же, где были, просто мы с ними существуем в разных временных измерениях. Мы ходим по одним и тем же улицам, невидимые друг для друга. Мы проходим сквозь них, а за стеклянными фасадами новомодных строений мне видны очертания некогда стоявших здесь домов: классические фронтоны и наивные мезонины, чванные ажурные ворота и полосатые шлагбаумы.

Всё, что когда-то было, и все, кто когда-то жил, остаются навсегда.

Вам не случалось увидеть где-нибудь в густой толпе на Кузнецком Мосту или на Никольской невесть откуда взявшийся и тут же растаявший силуэт в шляпе-веллингтоне и плаще-альмавиве? А прозрачный девичий профиль в чепце с лентами-мантоньерками? Нет? Значит, вы еще не научились видеть Москву по-настоящему.

Старинные города — это совсем не то, что города новые, которым каких-нибудь сто или двести лет. В большом и древнем городе родились, любили, ненавидели, страдали и радовались, а потом умерли так много людей, что весь этот океан нервной и духовной энергии не мог взять и исчезнуть бесследно.

Перефразируя Бродского, рассуждавшего об античности, можно сказать, что предки для нас существуют, мы же для них — нет, потому что мы про них кое-что знаем, а они про нас ровным счетом ничего. Они от нас не зависят. И городу, в котором они жили, тоже не было до нас, нынешних, никакого дела. Поэтому чем старше город, тем меньше обращает он внимания на своих теперешних обитателей — именно потому, что они в меньшинстве. Нам, живым, трудно удивить такой город; он видел и других, таких же смелых, предприимчивых, талантливых, а может быть, те, умершие, были качеством и получше.

Нью-Йорк существует в том же ритме, что сегодняшние ньюйоркцы, он их современник, напарник и поделщик. А вот Рим или Париж с равнодушной снисходительностью взирают на тех, кто развесил по старым стенам рекламы «Нескафе» и стирального порошка «Ариэль». Старинный Город знает: прокатится волна времени и смоет с улиц всю эту мишуру. Вместо шустрых человечков в джинсах и пестрых майках здесь будут разгуливать другие, одетые по-другому, да и нынешние тоже никуда не денутся — лишь переселятся из одних кварталов в другие, подземные. Полежат там несколько десятилетий, а потом сольются с почвой и окончательно станут безраздельной собственностью Города.

Кладбища в мегаполисах обычно живут недолго: ровно столько, сколько нужно, чтобы заполнить могилами выделенную под погост территорию, да еще полсотни лет, пока не вымрут те, кто приходил сюда ухаживать за надгробьями. Через каких-нибудь сто-полтораста лет поверх костей нарастет слой земли, на ней раскинутся площади или встанут дома, а на окраинах расширившегося Города появятся новые некрополи.

Мертвецы — наши соседи и сожители. Мы ходим по их костям, пользуемся выстроенными для них домами, разгуливаем под сенью посаженных ими деревьев. Мы и наши мертвые не мешаем друг другу.

Под Парижем несколько лет назад было обнаружено целое царство кадавров — катакомбы, где лежат миллионы и миллионы прежних парижан, чьи останки были некогда перенесены туда с городских кладбищ. Любой может доехать до станции Данфер-Рошро, спуститься в подземелье и обозреть бескрайние ряды черепов, представить собственный где-нибудь в уголочке, в семнадцатом ряду сто шестьдесят восьмым слева и, возможно, внести некоторую корректировку в масштабирование своей личности.

Но возможность заглянуть в земные недра, где поселились жившие прежде нас, — это редкость. Парижанам, можно сказать, повезло. Чаще местом встречи с предшественниками для нас становятся чудом сохранившиеся старые кладбища, островки сгустившегося и застоявшегося времени, где давно уже никого не хоронят. Последнее условие обязательно, потому что разрытая земля и свежее горе пахнут не вечностью, а смертью. Этот запах слишком резок, он помешает вам уловить хрупкий аромат другого времени.

Если хотите понять и почувствовать Москву, погуляйте по Старому Донскому кладбищу. В Париже проведите полдня на Пер-Лашез. В Лондоне съездите на Хайгейтское кладбище. Даже в Нью-Йорке есть территория остановившегося времени — бруклинский Грин-Вуд.

Если день, погода и ваше душевное состояние окажутся в гармонии с антуражем, вы ощутите себя частью того, что было прежде, и того, что будет потом. И, может быть, услышите голос, который шепнет вам: «Рождение и смерть — это не стены, а двери».

## **Старое Донское кладбище в Москве Был да сплыл, или Забытая смерть**

От действующих московских кладбищ меня с души воротит. Они похожи на кровоточащие куски вырванного по живому мяса. Туда подъезжают автобусы с черными полосами по борту, там слишком тихо говорят и слишком громко плачут, а в крематорском конвейерном цехе четыре раза в час завывает хоральный прелюд, и казенная дама в траурном платье говорит поставленным голосом: «Подходим по одному, прощаемся».

Если вас без дела, из одной любознательности, занесло на Николо-Архангельское, Востряковское или Хованское, уходите оттуда не оглядываясь — не то испугаетесь бескрайних, до горизонта пустырей, утыканных серыми и черными камнями, задохнетесь от особенного жирного воздуха, оглохнете от звенящей тишины, и вам захочется жить вечно, жить любой ценой, лишь бы не лежать кучкой пепла в хрущобе колумбария или распадаться на белки, жиры и углеводы под цветником ноль семь на один и восемь.

Новые кладбища ничего вам не объяснят про жизнь и смерть, только собьют с толку, запугают и запутают. Ну их, пусть чавкают своими гранитно-бетонными челюстями за кольцевой автострадой, а мы с вами лучше отправимся в Земляной город, на Старое Донское кладбище, ибо, по-моему, во всем нашем красивом и таинственном городе нет места более красивого и более таинственного.

Старое Донское совсем не похоже на современных гигантов похоронной индустрии: там асфальт, а здесь засыпанные листьями дорожки; там пыльная трава, а здесь рябины и вербы; там бетонная плита с надписью «Наточка, доченька, на кого ты нас покинула», а здесь мраморный ангел с раскрытой книгой, и в книге сказано: «Блаженни плачущие, яко тии утешатся».

Только не забредите по ошибке на Новое Донское, расположенное рядом, за красной зубчатой стеной. Оно поманит вас луковками церкви, но это волк в овечьей шкуре — перелицованный Крематорий № 1. А у ворот вас улыбочиво встретит каменный Сергей Андреевич Муромцев, председатель Первой Государственной Думы. Не верьте этому счастливому принцу, который, как пчелка, впитал своей жизнью (1850–1910) весь мед недолгого российского европеизма и тихо почил до наступления неприятностей, должно быть, совершенно уверенный в победе русского парламентаризма и постепенном обрастании приятными соседями — приват-доцентами и присяжными поверенными. Увы — вокруг сплошь лауреаты сталинской премии, комбриги, аэронавты и заслуженные строители РСФСР. Пройдет время, и их надгробья со спутниками, рейсфедерами и звездами тоже станут исторической экзотикой. Но только не для моего поколения.

Нам с вами дальше, в другие ворота, увенчанные высокой колокольней. Москва, которую я люблю, похоронена там. Похоронена, но не мертва.

Впервые я почувствовал, что она жива, в ранней молодости, когда служил в тихом учреждении, расположенном неподалеку от Донского монастыря, и ходил с коллегами на древние могилки пить невкусное, но крепкое вино «Агдам». Мы сиживали на деревянной скамеечке, напротив пыльного барельефа с Сергием Радонежским, Пересветом и Ослябей (он все еще там, на стену восстановленного храма Христа Спасителя так и не вернулся), закусывали азербайджанскую цикуту сладкими монастырскими яблоками, и разговор непостижимым образом все выворачивал с последнего альбома группы «Спаркс» (или что мы там тогда слушали?) на Салтычиху и с джинсов «супер-райфл» на Чадаева.

Петр Яковлевич покоился совсем неподалеку от заветной скамейки. Потомкам его могила сообщала о человеке, который в Риме был бы Брут, а в Афинах Периклес, один-единственный факт: *«Кончил жизнь 1856 года 14 апреля»* — и это наводило на размышления.

Что же до Салтычихи, то на ее надгробии время не сохранило ни единого слова и ни единой буквы. Она существовала на самом деле, московская помещица Дарья Николаевна Салтыкова, замучившая до смерти сто крепостных, — вот единственное, что подтверждала могила. Но чудовища не поддаются дефиниции, устройство их души темно и загадочно, и самый уместный памятник монстру — фигура умолчания в виде голого серого обелиска, напоминающего силуэтом загнанный в землю осиновый кол.

В пяти шагах от места упокоения русской современницы маркиза де Сада из земли произрастает диковинное каменное дерево в виде сучковатого креста — масонский знак в память поручика Баскакова, умершего в 1794 году. Никакой дополнительной информации, жаль.

Надписи и неуклюжие стихи на могилах — чтение увлекательное и совсем не монотонное. Это не что иное, как попытка материализовать и увековечить эмоцию, причем попытка небезуспешная — скорбящих давно уж нет, а их скорбь вот она:

(Покоится здесь юноша раб божий Николай.  
От мира и забот его призвал Бог в рай».

(От безутешных родителей почетному гражданину отроку Николаю Грачеву.)

Или совсем нескладно, но еще пронзительней:

«Покойся милый прах в земных недрах,  
А душа пари в лазурных небесах  
Но я остаюсь здесь по тебе в слезах».

(Уже не прочесть, от кого кому.)

Но любимая моя эпитафия, украшающая надгробье княжны Шаховской, не трогательна, а мстительна: *«Скончалась от операции доктора Снегирева»*.

Где вы, доктор Снегирев? Сохранилась ваша-то могила? Ох, вряд ли. А тут, на Старом Донском, вас до сих пор поминают, пусть и недобрым словом.

Двадцать лет назад, когда я приходил сюда чуть не каждый день, мало кто заглядывал на это заросшее, полузабытое кладбище. Разве что гурманы москвоведения приведут гостей столицы, чтобы попотчевать их главной кладбищенской достопримечательностью — черным бронзовым Христом, вытянувшимся в полный рост в нише монастырской стены. У ног Спасителя уже тогда не переводились свежие цветы, а меня этот во всех отношениях замечательный памятник русского модерна совсем не трогал — очень уж изящен и бонтонен.

Грешен — не люблю достопримечательностей. Очевидно, оттого, что они слишком отполированы взглядами, про них и так всё известно, в них нет тайны. На указателях Донского могильника можно найти некоторое количество известных имен: историк Ключевский, поэт Майков, архитектор Бове, казак Иловайский 12-ый, но абсолютное большинство здешних покойников ничем себя не прославили. Славных да громких в ту пору хоронили в Петербурге, а здесь Москва, провинция. Пышность отдельных надгробий не должна вас обманывать — это свидетельство богатства, но не жизненного успеха. Бог весть сколько неудавшихся карьер и ненасытившихся честолюбий похоронено на Старом Донском. Глядишь на все эти облупившиеся гербы да полустершиеся титулы и вспоминаешь датского короля Эрика Достопамятного, от которого осталось лишь звучное прозвище, а почему современники считали его таким уж достопамятным, история как-то не запомнила.

Мои избранники никому кроме меня не нужны. Их имена не гремели, пока они жили, а когда умерли, то кроме камня на могиле в этом мире ничего от них не осталось. Девица Екатерина Безсонова 72 лет от роду, скончавшаяся 1823 года пополуночи в 8-ом часу, и статский советник Гавриил Степанович Карнович, отлично-добродетельно истинно по-христиански всегда живший, завораживают меня загадкой своей исчезнувшей жизни. Лаконичнее всего это ощущение выражено в хайку Игоря Бурдонова *«Малоизвестный факт»*:

Все они умерли —  
Люди, жившие в Российском государстве

В августе 1864 года.

Они и в самом деле все умерли — говевшие, делавшие визиты, читавшие «Московские губернские ведомости» и ругавшие коварного Дизраэли. Но на Старом Донском кладбище меня охватывает острое, а стало быть, безошибочное чувство, что они где-то рядом, до них можно дотянуться, просто я не знаю, как поймать ускользнувшее время, как зацепить тайну за краешек.

Он, этот краешек, совсем близко — кажется, еще чуть-чуть и ухватишь. Близок локоть...

И я сочиняю романы про XIX век, стараясь вложить в них самое главное — ощущение тайны и ускользания времени. Я заселяю свою выдуманную Россию персонажами, имена и фамилии которых нередко заимствованы с донских надгробий. Сам не знаю, чего я этим добиваюсь — то ли вытащить из могил тех, кого больше нет, то ли самому прокрасться в их жизнь.

## Губы-раз, Зубы-два

Пару лет назад в Москве пропал человек. Без вести. Дело небольшое, у нас в столице, согласно статистике, ежегодно исчезает до трех тысяч граждан обоего пола, но этот был не бомж и не склерозная старушка, а капитан милиции, слушатель криминологического факультета Правоохранительной академии МВД. Анкетные данные такие: Николай Виленинович Чухчев, русский, 1970 года рождения, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Когда Чухчев не явился ночевать в общежитие, чего с ним никогда прежде не бывало, а назавтра без уважительной причины пропустил занятия, в академии забеспокоились. Все-таки офицер милиции. Мало ли что. Собирались объявить в розыск, но в это время начальнику поступила секретная рекомендация Откуда Следует: слушателя Чухчева не искать, шума не поднимать, и домыслов строить тоже не советовали. Потому что Государственная Тайна.

Раз Государственная Тайна, делать нечего: исключили капитана из списков, место в общежитии отдали другому офицеру, а вещи личного пользования сложили в чемодан и убрали в кладовку, потому что близких родственников у Чухчева не имелось.

В общем, жил человек — и, как говорится, ушел под воду без всплеска, растворился без осадка. А человек, между прочим, был особенный.

То есть, безусловно, все люди особенные. Со стороны оно, может, и не всегда видно, но это сто процентов. Каждый в глубине души про себя знает, что он совсем не такой, как другие. Николай это тоже сознавал, но в отличие от большинства людей были у него на то кое-какие объективные причины. Возможно, не такие уж объективные, а просто случайность, однако сам он в своей *особости* не сомневался и младшему лейтенанту Лисичкиной, которая в последнее время ему очень нравилась, говорил: «Я верю в свою Звезду».

*Особость* состояла в том, что Чухчев был Человеком, Который Находит Клады. Правда, пока что клад ему попался всего однажды, но зато в возрасте, когда формируются ориентиры — в четырнадцать лет.

В городишке, где рос Колька, была заброшенная штольня. Во время войны немцы там держали склад, а когда отступали, всё к черту перезаминировали. Нашим потом возиться было лень и незачем — посадили железную дверь, чтоб пацаны не лазили, навесили щит с черепом и надписью «Посторонним вход воспрещен», да и забыли. Сорок лет дверь ржавела-ржавела, а потом как-то утром Колька идет с речки — вдруг видит: замок с петель сам собой свалился, и в щелку видать черную пустоту.

Парень он был любопытный и не робкого десятка. Полез. Думал, может, каску немецкую добудет или, если повезет, рожок от «шмайссера». Те же мины, если их осторожненько вынуть и аккуратненько разобрать, очень могут пригодиться для рыбалки.

По всему следовало Кольке в этой гиблой штольне подорваться, но здесь-то и проявилась его Звезда. Это благодаря ей он не зацепился ногой за усик выпрыгивающей «SMi-35», не наступил на пружину бетоннометаллической «Шток-мине», а вместо этого нашел в полусгнившем снаряжном ящике небольшую, так примерно тридцать на сорок, коробку, всю набитую золотыми украшениями. Должно быть, припрятал какой-нибудь полицай до лучших времен, а вернуться за кладом у гада не получилось.

Будь Колька Чухчев умудренней годами и жизненным опытом, он никому бы о своей находке не рассказал, попробовал бы толкнуть золотишко без шума, малыми порциями, но какой с мальчишки спрос? Нахвастал, развонил на весь город.

Короче, коробку забрали в милицию, про героического Кольку написали в газете, дали ему похвальную грамоту и вознаграждение, согласно закону: четверть госстоимости по цене золотого лома, 784 рубля с копейками. Он купил себе мопед «Верховина» и чехословацкий спиннинг, а остальное отдал матери.

Такой вот уникальный случай произошел с Чухчевым в подростковом возрасте.

Тогда же определился у него и выбор в плане жизненного пути. Решил Коля, что станет сотрудником правоохранительных органов. Во-первых, пускай и дальше у него всё будет по закону. Во-вторых,

милиционеру можно туда, где посторонним вход воспрещен, а клады, как известно, водятся только там, куда абы кого не пускают. Ну а в-третьих, не в шахтеры же идти.

В дальнейшие годы Чухчев существовал вроде бы обыкновенно: служил в армии, учился в милицейской школе, женился-развелся, трудился в паспортном столе, выбился в московскую академию, однако всё это была внешняя жизнь, неглавная. Суть же состояла в том, что Николай глядел в оба. Нужно было не облажаться, когда Звезда выведет его к Настоящему Кладу. И Чухчев верил, что не облажается.

Учиться в академии капитану нравилось. Не только потому, что через нее открывался путь к служебному повышению и даже, может быть, к переводу на постоянную работу в столицу либо ближнее Подмосковье, а потому, что академия располагалась на территории бывшего монастыря, в самой старинной части Москвы. Судя по увлекательной книжке «Подземные клады Белокаменной», земля тут была буквально изрыта тайными ходами и схронами, в которых москвичи прятали свое добро то от татар, то от поляков, то от французов, то от коллег-предшественников капитана Чухчева. Взять хоть этот самый монастырь имени отсекновения головы Иоанна Предтечи. До 1918 года здесь квартировали монахи. Барыни и купчихи ради спасения души дарили им золотые оклады для икон, пудовые серебряные подсвечники и прочие ценные предметы церковного обихода. Когда советская власть придумала передать недвижимость, очень кстати огороженную каменной стеной, в ведение ЧК-ОГПУ, монастырь прикрыли. Пришли за драгметаллами — а ни черта нет: одни голые стены. Попрятали куда-то монашки всё свое добро.

Спрашивается, куда? Не по улицам же революционной столицы таскали они золото-серебро?

Здесь оно где-то, родимое, чувствовал капитан, присматриваясь к келейному корпусу, где раньше была тюрьма, а теперь склад учебных пособий. Или здесь (это он думал уже про обветшавшую церковь, что стояла на крепком, глубоко осевшем фундаменте).

В общем, нельзя сказать, чтобы всё произошло совсем уж случайно. Кто знает, куда смотреть, рано или поздно увидит то, что хочет увидеть.

Короче, восьмого декабря, в полвторого дня, в перерыве между занятиями, прогуливался Николай возле храма. Жевал бутерброд с колбасой, пил сок из пакета, глазел по сторонам — всё как обычно.

Вдруг видит, двое рабочих у самой стены траншеей роют — кабель класть. Подошел, стал смотреть. Сообразил: ага, это они из-за оттепели, торопятся, пока земля снова не задубела. Надо сказать, что в том декабре оттепель была просто невиданная: снег весь потаял, в отдельных районах города столбик термометра днем поднимался до десяти градусов Цельсия.

Капитан следил, как лопатные штыки входят в рыжую почву, и сердце у него колотилось быстрее обычного. Он представлял, как из-под комьев глины покажется черная крышка сундука или шоколадный бок кувшина. Чуть-чуть, самый краешек. Тут, пока работяги не заметили, Николай крикнет: «А ну, валите отсюда, здесь копать нельзя, режимный объект». Они пойдут за бригадиром или кто там у них, он быстренько спрыгнет в яму, и...

Дальше домечтать Чухчев не успел, потому что лопата противно скрежетнула — вроде бы по фундаменту церкви, но звук показался капитану не каменным, а железным.

И точно: из земли торчал ржавый угол, на котором явственно просматривалась заклепка. К белокаменному поду церкви был не то прислонен металлический щит, не то — спокойно! — это торчала верхушка засыпанной двери.

Николая кинуло в пот. А рабочие знай машут себе лопатами, даже не оглянулись.

Здесь Чухчев проявил волевые качества, отмеченные и в его служебной характеристике: дождался, когда копальщики уйдут обедать, хотя самого прямо колотило от нетерпения.

Соскочил в канаву. Поскреб дощечкой. Точно — дверь. До самого верху завалена всякой дрянью: щепенка, гнилые щепки, куски штукатурки. Похоже, нарочно вход маскировали.

Николай подобрал лопату, быстро-быстро раскидал мусор, примерно на полметра вглубь.

Потом взял лом, сунул в щелку, навалился. Из прорехи потянуло сладковатой затхлостью. Именно так должно было пахнуть Место, Где Спрятан Клад.

Капитан засыпал всё обратно, сверху для верности еще понакидал земли. Теперь требовалось дожидаться ночи, когда во дворе будет пусто.

Пока не закрылась проходная, Чухчев сбегал в общежитие. Переоделся в старую форму, которой теперь пользовался только для практических занятий типа учебной облавы в бомжатнике, натянул кирзачи, сунул в сумку саперную лопатку и хороший фонарь «Туса» — товарищи подарили на тридцатилетие, для ночной рыбалки.

До вечера потерялся в учебном корпусе, потом двинулся к выходу, вроде как со всеми, однако по дороге свернул в сторону и вдоль стенки, вдоль стенки, на хоздвор.

Промаялся в глухом углу, забравшись в кабину списанного «зила», до одиннадцати, и лишь когда на территории стало совсем тихо, приступил к делу.

За часы ожидания энергии в капитане накопилось столько, что полутораметровую яму он вырыл минут

за пятнадцать. Старинная дверь обнажилась полностью. Была она хоть и поеденная ржавчиной, но крепкая, не то что шгольненская, халтурного послевоенного производства. Однако Чухчев и эту уделал в пять секунд — так рванул створку, что она чуть с петель не слетела.

Пригнувшись, шагнул в темноту, прикрыл за собой дверь и лишь тогда включил «Тусу».

Увидел под ногами ступеньки. Спустился — и хорошо спустился, метров на семь-восемь. В подвал (или, если по-историческому, «подклет»), который под церковью, Чухчев уже раз навевывался, однако ничего интересного там не обнаружил — только пыльные полки с архивной канцелярией. Но подzemелье, в которое он попал теперь, явно находилось ниже.

Луч пошарил по ключьям паутины на сводчатом потолке, по грязно-белым стенам, по битому кирпичу на полу.

Тихо было до того, что капитан отчетливо слышал стук собственного сердца.

Спокойно, Коля, сказал себе Чухчев, не гони волну. Раз вход сюда засыпали, значит, было чего прятать. Будем искать. Согласно установленному порядку произведения обыска замкнутого помещения — от угла и по часовой стрелке, метр за метром.

Стенка, с которой было решено начать досмотр, капитана озадачила. Она была вся в мелких выбоинах, очень знакомого вида. Приглядевшись, Николай понял: следы от пуль, револьверных или пистолетных. Сначала удивился, но когда заметил на полу, в пушистой пыли, россыпь ржавых гильз, загадка объяснилась.

Ёлки, это ж расстрельный подвал. Раз в монастыре была чекистская тюрьма, то, конечно, чистые руки — горячее сердце мочили тут врагов революции. В те времена особо не церемонились, условно-досрочными не баловали. Теперь понятно, почему подвал закупорили и дверь завалили.

Ужас как разочаровался капитан Чухчев.

Ну и, конечно, не по себе стало. Человек он был не то чтобы нервный или впечатлительный, но по-своему чуткий. Не в смысле сентиментальности, а в смысле остроты чутья. Когда столько лет высматриваешь вокруг тайные, одному тебе заметные знаки, эта мистика даром не проходит.

И слышались Николаю типа крики, стоны, эхо выстрелов, даже вроде как матюгом шумнуло. Он уж хотел уносить ноги из этой поганой ямы, да Звезда не пустила. Шепнула на ухо: загляни-ка, Коля, вон в тот дальний угол.

Чухчев прогнал из психики несуществующие звуки и двинулся в указанном направлении.

Там, в углу, было очень нехорошо. Капитан затруднился бы объяснить, откуда у него возникло такое ощущение, но по коже пробежали мурашки.

Ну, стена, посветил фонарем Николай, пытаюсь уразуметь, в чем дело. Ну, плесень. Мышиный помет. Скорее, крысиный — больно катышки здоровые.

Издали донеслось «бом-бом-бом» — это часы на монастырской колокольне начали отбивать полночь.

Чухчев потер пальцем под усами, потом по передним зубам — была у него такая привычка, если сильно над чем-нибудь задумается.

— Губы-раз, зубы-два, — донесся вдруг из стены тихий, но отчетливый шепот.

И еще какое-то бормотание, почти совсем неслышное.

— А? — спросил капитан, отшатнувшись. Впереди-то ничего не было, совсем ничего!

Одна стена.

Вдруг откуда-то (из щелей в кладке, что ли?) пополз туман — не туман, дымка — не дымка, а может, это у Николая от потрясения в глазах поплыло, только видимость сделалась почти что нулевая. Воздух заколыхался, в луче взвихрились белые крошки, а потом муть рассеялась, и милиционер увидел в стене, прямо перед собой, проем, которого раньше тут не было.

— Блин, — сказал Чухчев, потому что принципиально не употреблял нецензурных выражений, и уронил свою «Тусу» на каменный пол.

Фонарь не разбился, но откатился в сторону и стал светить в постороннем направлении, поэтому кто там, в дыре, Николай не разглядел.

А там явно кто-то был.

В нос капитану шибануло кислым смрадом, обдало холодом, будто из открытого рефрижератора, и донесся свистящий шепот (вроде женский):

— Ктойта? Эй, ктойта?

— Капитан Чухчев, — строго ответил Николай, лихорадочно соображая, как бы представить свое подвальное пребывание в официальном смысле.

В общем-то, это было нетрудно. Представитель власти имеет право заходить, куда хочет, если подозревает какой беспорядок. А тут безусловно присутствовал беспорядок, хоть и не очень понятно, какой именно.

— Капитан Чухчев? — выдохнула тьма. — Капитан Чухчев?! Никулушка, ангел мой! Пришел, сокол! А

я уж не чаяла!

Говорила старуха, теперь он это точно разобрал. Во-первых, голос был надтреснутый, во-вторых, с шамканьем — вместо «капитан Чухчев» получилось «капитан Тюхчев» или даже «Гютьчев».

Холодный ветерок щекотнул Николая по щеке, вонища усилилась — кажется, старушенция решила подобраться к капитану поближе.

— Но-но, — сурово предупредил он на всякий случай и нагнулся за фонарем. — Проверка паспортного режима. Документы!

Тут, что называется, возникали вопросы. Во-первых, что за личность. Во-вторых, как попала в засыпанный подвал. Выходит, в него что, есть лаз с другой стороны? В-третьих, куда подевался кусок стены? В-четвертых, откуда старушка его по имени знает. «Николушкой» Чухчева никто не называл, даже в детстве — всё больше «Колькой», мать «Колюнчиком», а бабуля «Коликом-кроликом».

— Не признал свою Дарьюшку? — трепетал и всхлипывал голос. — Ох, ждала я тебя, ненаглядного, ох, ждала, немилосердного! Что грехов-то на душу взяла! Без разума и грех не в грех, а разум мой ты с собой забрал. Когда бросил меня, на молодую, желтоволосую променял! Всех бы их, лярв желтоволосых, в ключья разодрать, в кипятке сварить, утюгом пожечь! Да разве всех изведешь?

И столько в этом захлебывающемся шипении было злобы, что у Чухчева разжались пальцы, и фонарь снова выпал.

— Но и меня мучили, ах мучили! — Старуха перешла с гадючьего шипения на плач. — По все годы в темнотище, на сухой корочке. А людишки черные через решетку дразнятся, пироги подовые показывают да приговаривают: «Салтычиха-балтычиха и висоцкая дьячиха, Васильевна, Савишна — давишня барышня! А у нас пироги горячи, с рыбкой, с вязичкою, с говядиной, с яичком. Пожалте, у нас для вас в самый раз! В нашей лавке атлас-канифас, шпильки-булавки, чирьи-бородавки...» Я на них зверем рычу, матерно лаюся, а они хохочут. «Ты не баба, говорят, ты мужик, про то указ читан. Сыми портки, похвастайся! Как на ты солдат-то влез?» Что я от солдата понесла, так это я не виноватая, ты злым языкам не верь. Снасильничал он меня, когда я обессилемши лежала, влихоманке. Я, Николушка, амантик мой, одного тебя обожаю...

В бредятину Чухчев почти не вслушивался. Он уже вычислил, что это за чучело. У монастырской стены недавно часовню открыли, так возле нее полно всякой пьяни-рвани кормится, милостыню кланчит. Вот и старуха эта наверняка оттуда же. Реально трёхнутая, на всю голову, раньше таких юродивыми называли. И еще блаженными, как церковь на Красной площади. Днем старуха, надо думать, на улице торчит, а на ночь в подвал уползает.

Капитан совершенно твердой, уже нисколько не дрожащей рукой подобрал фонарь, осветил — и версия подтвердилась. У стены покачивалась высоченная старуха, костлявая, как Баба Яга, с горящими черными глазищами, короче — самая распоследняя бомжиха: сверху какие-то тряпки намотаны, снизу широкие штаны с пузырями на коленях, вроде старых китайских треников, а на ногах драные соломенные тапки.

— Свет-то от тебя какой, будто от того! — ослабилось страшилище и потянулось к капитану корявыми лапами. — Это он тебя послал, да?

— Рруки убрала! — прикрикнул Чухчев, ежась от холода. Как она тут ночует, как не замерзнет к чертовой матери? — Кто послал? Куда послал?

— Который стекло сторожит, — непонятно объяснила бомжиха. — Он, больше некому. Освети себя, Николушка. Дай полюбоваться личиком сахарным. Истосковалася я. — И вдруг всплеснула руками, заполошилась. — Ах, дура я, дура! Что ж это я неприбрана, нечесана, в чем была! А сама удивляюсь, что ты меня не приголубишь, слово ласковое не скажешь. Не гляди на меня, медовенький, я сейчас, сейчас!

Она махнула перед собой, и снова, как пять минут назад, воздух поплыл, затуманился, но теперь совсем ненадолго.

— Вот теперь гляди на свою Дарьюшку! Дымка рассеялась, и Чухчев увидел вместо старухи еще молодую, но сильно некрасивую женщину — черноволосую, мясистую, нос картошкой. Самое чудное, что была она не в лохмотьях, а в длинном нарядном платье с глубоким-преглубоким вырезом, и в вырезе колыхался бюстище номер на пятый, если не на шестой. И пахло теперь не кислятиной, а резким цветочным ароматом.

Тут Николай, хоть и храбрый человек, фонарь обронил (уже в третий раз), повернулся и дунул к лестнице. Сам не помнил, как вылетел из подвала, а вслед ему несло:

— Стой! Куда? Ведь сто лет теперь не свидимся!

Это, значит, было ночью восьмого декабря, даже уже девятого, потому что когда Чухчев вылез из ямы, он первым делом посмотрел на часы — по милицейской привычке: если какое происшествие, сразу протокол составлять. Было одиннадцать минут первого.

Постояв в траншее и малость успокоившись, капитан объяснил себе, что с ним произошла галлюцинация, малоизученное наукой явление. Но назад в подвал не полез — куда без фонаря? Завалил

железную дверь мусором, решил, что заберет «Гусу» завтра.

До утра проворочался в кровати. Пару раз задремывал, но ненадолго — вскидывался в холодном поту, с криком, а что за кошмар приснился, вспомнить не мог.

Назавтра вместо первой лекции пошел в читальный зал, попросил книжку по москвоведению, нашел про Иоанно-Предтеченский монастырь, про старую церковь, стал читать.

Выяснилось, что собор не такой уж и старый, всего сто тридцать лет как построен. До него здесь другой храм стоял, древний. В 1860 году прежнюю церковь разобрали, поставили на старинном фундаменте новую. Сэкономили, стало быть, на нулевом цикле строительства.

Дальше лирика пошла — про княжну Тараканову, про Христа ради юродивую Марфу, про страшную душегубицу Салтычиху...

Дойдя до этого места, Николай так и вскинулся. Вспомнил, как ночное чудище бормотало: «Салтычиха-балтычиха», и еще что-то такое. Зашустрил глазами по строчкам, но про Салтычиху в книжке было мало: жестокая крепостница, заточена в монастырскую тюрьму, где и умерла.

— Мне бы энциклопедию, какая побольше. На букву «Сэ», — попросил Чухчев библиотекаря.

Получил толстенный том, искал «Салтычиху», нашел.

Статья была такого содержания:

**«Салтычиха** — настоящее имя Салтыкова Дарья Николаевна (март 1730 — 27 ноября (9 декабря) 1801, по другим данным, 1800). Вдова гвардии ротмистра, богатая помещица Московской, Вологодской и Костромской губерний. В течение 7 лет (1756–1762) замучила до смерти 139 человек, преимущественно светловолосых женщин и девочек. Запарывала или забивала жертв до смерти, обливала кипятком, жгла утюгом, подпаливала волосы. Припадки изуверской жестокости стали случаться с С. после того, как ее бросил любовник, капитан Николай Тютчев, дед выдающегося поэта Ф.Тютчева. Сначала С. пыталась убить капитана и его молодую жену, а когда супруги спаслись бегством, стала срывать злобу на своих беззащитных слугах. Крепостные пробовали жаловаться, но С. откупалась от властей взятками. Наконец в 1762 г. двое крестьян, у которых она убила жен, добрались до самой императрицы, и та велела Юстиц-коллегии произвести строгое расследование, продолжавшееся 6 лет. Суд приговорил злодейку к смертной казни и конфискации всего имущества. Однако С. успела спрятать сундуки с золотом и не выдала местонахождение клада даже под пыткой. Екатерина Вторая сочла, что подобной «монстре» быстрой казни будет мало и постановила: «1. Лишить ее [Салтыкову] дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтоб она никогда никем не была именована названием рода ни отца своего, ни мужа. 2. Приказать в Москве вывести ее на площадь и приковать к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами: «Мучительница и душегубица». 3. Когда выстоит час она на сем поносительном зрелище, то, заключа в железы, отвести в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там подле которой ни есть церкви посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой по смерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда в ней света не имела». Кроме того, С. была сочтена недостойной считаться особой «милосердного» пола, вследствие чего постановили впредь именовать «сие чудовище мущиною». Была заключена в подземную тюрьму Иоанно-Предтеченского девичьего монастыря, где сидела в особом подвале, на долгие годы превратившись в одну из московских достопримечательностей. Родила ребенка от караульного солдата, однако снисхождения этим не заслужила. Впрочем, за все тридцать с лишним лет заключения, вплоть до самой смерти, С. не проявляла никакого раскаяния в совершенных злодействах. Похоронена родственниками на кладбище московского Донского монастыря».

В процессе чтения Чухчев испытывал разнообразные, но сильные чувства. Мысли же в голове прямо искрились. Сначала-то, пока читал про зверства, подумал просто: «Вот гадина». Но сразу за тем наткнулся на капитана Николая Тютчева — и давай пальцем губы-зубы тереть. Глаза сами собой заморгали, на нервной почве.

Душно стало капитану, нечем дышать.

Что же это получается, сказал он себе. Она, садистка эта, тут в подвале, под церковью, сидит? А в энциклопедии написано «похоронена на кладбище»?

Отпросился с занятий, сгонял на Донское. Нашел по схеме нужную могилу, постоял возле камня, прикидывая, нельзя ли как-нибудь организовать эксгумацию.

Но затея была дурная, это он быстро сообразил. Во-первых, целый геморрой бумажки оформлять. Во-вторых, так можно и на психобследование загреметь. А в-третьих, вообще на хрена?

Будем называть вещи своими именами: в могиле лежат кости (и пускай себе лежат), а в подклете было привидение.

Лет этак пятнадцать назад подобная идея Николаю в голову нипочем бы не пришла. В детстве он твердо знал, что Бога нет, а теперь с этим как-то неясно стало. Даже у начальника Академии в кабинете рядом с президентом Путиным икона висит. Теперь это для службы ничего, даже полезно. Да и половина ментов с

крестами на шею ходит. Такая вот нематериалистическая картина мира складывается. А если есть рай и ад, то почему бы и привидениям не быть?

Не мог Чухчев, как хорошо успевающий по аналитической криминалистике, упустить из виду и такой существенный факт: девятого декабря, то есть сегодня, исполнилось ровно двести лет, как эта самая Салтычиха откинулась, в смысле умерла. Может, их, привидения, раз в сто лет на прогулку выпускают, по случаю юбилея? Даром что ли она кричала: «Теперь сто лет не свидимся?» Пускай бы и тысячу лет, Николай не возражал.

Хотя это как посмотреть.

Звезда ведь не зря велела ему в нехороший угол заглянуть. Не чтоб попугать или посмеяться. В энциклопедии что написано? Спрятала полоумная баба сундуки с золотом, никому не отдала. Потому, может, и нет ее душе покоя — стережет свое добро. Два с лишним века лежит где-то золото, дожидается нового хозяина. Уж не капитана ли Чухчева?

И ведь как удачно всё сходится, одно к одному.

Салтычиха эта любовника своего не забыла, до сих пор по нему сохнет, так?

Если кому сокровище и отдаст, то только «Николушке», так?

А Чухчев, между прочим, тоже Николушка, тоже капитан и даже почти что Тютчев.

Попросить ее как следует — глядишь, и скажет, где клад. Только бы не расколола, а то обидится, запишует. Женщина она с характером, лучше не нарываться.

Риск, конечно, есть, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

На всякий случай Чухчев принял меры предосторожности, общим числом три.

Первое — сунул в карман образок. Во внутренний, чтобы сразу не отпугнуть нечистую силу, а понадобится — вытащим.

Второе — прихватил табельное оружие, причем пули покрыл серебряной краской.

Третье — одолжил у Сереги Волосюка треугольную шляпу, какие при Петре Первом носили. Это Серега в прошлом году с волейбольной сборной МВД в Венецию ездил и купил там — на Новый Год надеть или так, поприкалываться. Если нацепить треуголку пониже, авось не расколется. Вряд ли у нее, Салтычихи этой, хорошее зрение в таком-то возрасте. Опять же темно.

В общем, хорошо снарядился, так что лез в подклет без страха. Боялся одного — что привидение не появится. Поэтому уже в пол-одиннадцатого, за полтора часа до того, как истечет девятое число, был на месте.

Пощелкал зажигалкой, нашел «Тусу», но луч сделал самый слабый, рассеянный. Лишнее освещение липовому капитану Тютчеву было ни к чему.

Только зря всё это было — не вышла к Николаю ни оборванная старуха, ни мясистая тетка в нарядном платье.

Он уж топтался-топтался у заветного угла. И в кирпич стучал, и даже звал: «Дарьюшка, это я, Коля Тютчев». Пару раз из-за стены будто слышалось что-то. А может, показалось.

Время, между тем, на месте не стояло. До полуночи оставалось всего ничего.

Встав перед стеной, капитан сосредоточенно потер губу, облизнул палец о зубы, сплюнул.

И вдруг слышит, точь-в-точь как вчера: «Губы-раз, зубы-два, помогай разрыв-трава...» И дальше еще что-то, но уже не разобрать.

— Дарья Николаевна! — заорал Чухчев. — Дарьюшка! Здесь я! Давай сюда!

Стену заволкло паром, закружилась белесая муть, и вот уже стояла перед капитаном мертвая помещица, тянула к нему голые толстые руки.

Героический был мужчина этот Тютчев, подумал капитан, потому что и в молодом своем виде была Салтычиха, прямо сказать, не Мерилин Монро.

— Николушка, лапушка! — прошелестело привидение. — Вернулся! Уж и не чаяла!

Видя, что дело идет к объятьям, Чухчев поневоле зажмурился, но ничего особо страшного не случилось — только прошел озноб по плечам да похолодило щеку.

— Я на кладбище был, — сказал Николай, чтобы перевести встречу в конструктивное русло. — Венок на могилу возложил.

— Там, на погосте, костяк один, — равнодушно ответила покойница, подтверждая его версию. — А мне самой, когда померла, велено тут состоять, при месте земного наказания.

— Чего там бывает-то, после смерти? — спросил Чухчев, прикидывая, как бы половчее повернуть к главному — про клад.

Салтычиха удивилась:

— Нешто не знаешь? Иль у тебя не так было? Хотя что ж стеклу тебя не пущать, ты-то не лютовал, душу грехом не тяжелил. Все бремена на одну меня легли...

Последнее было сказано с явной обидой, от призрака во все стороны брызнули маленькие багровые

искры, и Николай поскорей сунул левую руку за пазуху, где иконка, а правую в карман, где ПМ с серебряными пулями.

Но видение уже успокоилось, гнев сменился печалью.

— Не виноват ты, Николушка. Все мужчины в любви трусы, душу свою берегут, прячут. Баба если уж полюбила, ей всё нипочем, душа — не душа. Я про свою ни разу и не вспомнила, расплаты не утратилась. Одного лишь сердца слушалась. А как отмучилась, тело свое постылое, безобразное покинула, за всё ответить пришлось. Ты, когда помер, через черную трубу летел?

— Само собой, — осторожно кивнул Чухчев.

— А свет потом узрел?

— Ну.

— И как? Поди, на волю вылетел? — Салтычиха вздохнула. — А моя душа не сумела, больно в ней тяготы много. Гляжу — приволье, всё зеленое и голубое, и свет радужный по-над плёсом. Так хочется туда, так хочется! И вижу, уж гуляют там всякие, и звуки сладкие несутся! Разлетелась, разогналась — да с размаху об стекло. Не могу дальше. Бьюсь, как муха на окне, а пути мне нет. Мимо другие души пролетают, кто тихо, кто с дребезжанием, иные тоже сначала поколотятся, поплачут — и пустит их стекло, а меня никак... Потом голос слышу. Шармантный такой, только шибко грустный. «Не пройдешь, дочка, и не думай. Душа у тебя тяжелая. Покаяться надо». Я кричу: «Пусти, дедушко, не в чем мне каяться! Ты людей любви учил, так я, может, сильней всех на свете любила, души своей заради любви не пощадила! Пусти погулять по шелковой траве-мураве!» «Я-то что, говорит, это ты сама себя не пускаешь. Покаяться надо, Дарьюшка». Я ему: «Ну каюся, ка-юся! Отвори скорей окошко! Буду там, на приволье, моего Николушку поджидать!» Только не было мне на это никакого ответа. Долго не было. Потом слышу: «Через сто лет приходи. Раньше никак нельзя». И сызнова я в свою яму попала. Вход уж успели камнем заложить, чтоб темница кровопивной Салтычихи Божий мир не поганила. Знаешь ли ты, друг мой сердешный, что такое сто лет в каменном мешке сидеть? Да без сонной отрады, без пятнышка света? Каждый час, каждая минутка вечностью предстают. Одним спасалась — о тебе, ангел мой, думала. Всё терзалась, любил ты меня или нет? Ну хоть недолго, хоть денек? Сто лет об стены билась, всё повторяла: любил — не любил. А как миновал назначенный срок, на самом исходе дня, в полночь, свод расступился, и полетела я над крышами-куполами, над башнями-облаками. И вижу трубу, и свет в ней, и по ту сторону чудесный луг. Но снова не попустило стекло проклятое. А Голос сказал: «За многая любовь и многая мука — многое же и простится. Но не покаялась ты. Через сто лет приходи». Сызнова я тут очутилась. Опять твержу: любил — не любил, любил — не любил. Только вторые сто лет еще горше первых оказались. Сейчас в третий раз полечу, счастье спытаю, но ныне не страшуся. Раз тебя, голубчика моего, узрела, значит, пустят меня!

Услышав про «полечу», Чухчев востепенел, на часы посмотрел. Без семи двенадцать, а он уши развесил. Улетит сейчас страшилище и неизвестно, вернется ли. Может, ей срок скостят или режим поменяют — типа со строгого на обычный. Не вернется в этот изолятор, так про клад и не узнаешь.

Ну, и взял быка за рога.

— Слушай, Даш, а куда ты сундуки с золотом попрягала? Просто интересно. Тут без тебя их искали-искали — без толку.

Затаил дыхание: скажет, не скажет?

— Добро-то? Блюда золотые, жемчуга с диамантами и смарагдами да сорока соболя? — спросила Салтычиха. — Знатно спрягала. Ни в жизнь никто не сыщет.

Соболя-то, конечно, сгнили, а вот камни и золотая посуда — это то, что надо, сглотнул Чухчев.

— Тебе, сахарный мой, расскажу. Усадьбу мою, что на Кузнецком мосту, помнишь? Вот как если от Лубянки смотреть: по правой стороне улицы дом со службами, а по левой — сад с огородами. Там, в саду, колодезь старый, высохший. Помнишь? Ты мне еще подле него цветок шиповниковый сорвал. Я его после в хрустальной шкатулочке держала.

— Помню-помню, — поторопил ее Николай. — Дальше что?

— Думаешь, пошто я колодезь пустой зарыть не велела? Я туда мертвяков кидала, до полуста раз, а полиции объявляла, что беглые. Там глыбка — дважды по двенадцать сажень. Как узнала я от верного человека, что враги мои завтра придут меня в железа брать, спустила сундуки вниз. Сеньке, Прошке да Тимошке, слугам моим верным, приказала землей да хворостом закидать.

Всю ночь они сыпали. А на рассвете, когда работы уж мало осталось, я их отравой опоила и туда ж сбросила. Доверху уж сама досыпала.

— Колодезь слева от Кузнецкого? — соображал капитан. — Я чего-то не припомню, Даш, далеко он от проезжей части?

— От чего, сладенький?

— Ну, от улицы.

— От угла Лубянки тридцать пять шагов. И после влево еще двенадцать. Я запомнила.

«Так, план Москвы восемнадцатого века достать не проблема, — прикидывал Чухчев. — Ну, пара метров туда-сюда, неважно. Главное, за кем числится землевладение. Тут откатывать придется, пятьдесят на пятьдесят, иначе не выйдет».

И здесь его прошибло.

— Слева по Кузнецкому? — ахнул Чухчев. — Тридцать пять шагов? Так это ж Контора!

Мертвая помещица его о чем-то спрашивала, тянула к лицу ледяные, бесплотные руки, а у капитана в голове скакали беспорядочные, ни к селу ни к городу мысли. Такого примерно плана: вон оно как всё на свете — вроде само собой, а только ни фига подобного. Если где какое место, то оно не просто так, не случайно. Взять хоть ту же Салтычиху. Мало ли в Москве монастырей со стенами, но в восемнадцатом году шишаки из ЧК под расстрельную тюрьму выбрали именно Предтеченский, где эта бешеная кикимора тридцать лет в яме просидела, да после призраком маялась. А Лубянка? Когда Дзержинский-Менжинский в Москву из Питера переезжали, они же могли под свою контору любую недвижку взять, ан нет — поглядели вокруг своими железными глазами и говорят: вот оно, наше место. Желаем сидеть в доме страхового общества «Россия», чтоб всю Россию в страхе держать, а еще нам в масть участок напротив, его тоже приберем. Навряд ли рыцари революции знали, что в том самом месте Салтычиха над крепостными девками зверствовала — это им горячее сердце подсказало.

«Не о том думаешь, Коля, — оборвал глупые мысли капитан. — Время, время!»

— Не попасть мне к твоим сундукам! — крикнул он в тоске. — Никак не попасть!

Крепостница удивилась:

— Да на что тебе золото, Николушка? — Но, услышав, как Чухчев мычит от расстройств, быстро прибавила. — Мне не жалко, бери. А что оно глубоко под землей и сверху, поди, палат-жилыя понастроили, так это пустое. Ты ж заговор знаешь. Скажи волшебные слова, и вмиг там окажешься.

— К-какой за...заговор?! — аж заикнулся Чухчев.

— «Губы-раз, зубы-два, помогай разрыв-трава, расступись сыра-земля, дам семитник от рубля». Хороший заговор. Он и под землю пустит, и за каменную стену.

— А...а что ж ты-то тогда двести лет взаперти просидела? — проявил аналитические способности Николай. — Чем в темноте сидеть, гуляла бы себе.

— Ах, Николушка, так ведь сначала надо губы-зубы потереть, а у меня их нету, видимость одна. И рядом никого в телесности не было. Пока ты за мной не пришел. погоди! — вдруг качнулось к Чухчеву привидение. — А откуда у тебя-то губы-зубы? Нешто ты не дух пустой? То-то я гляжу, вроде как парит от тебя, теплом несет...

«Завалился! Сгорел! Сейчас накинется!» — мелькнуло в голове у капитана, и так ему сделалось жутко смотреть в выпученные глаза чудовища, что он позабыл и про иконку, и про крашеную пулю. Да и, если честно, навряд ли они бы его спасли.

Но Салтычиха на перетрусившего Чухчева не накинулась, а только провела мерцающей рукой сквозь его щеку — будто погладила.

— Пора мне, Николушка, — сказала она ласково-преласково, и ее лицо внезапно перестало быть уродливым. — Если ты живой, это еще лучше. Живи сколько сможешь. Успеешь на зеленое приволье, тебя-то пустят, не бойся. Скажи только, сокол мой ясный, любил ли ты меня хоть сколько? Раз пришел ко мне, бабе злой и безумной, пускай через двести лет, так, может, любил?

И понял тут капитан, что ничего худого она ему не сделает. Да и вообще, часы уже начали бить полночь — сейчас привидение исчезнет. Вон оно уж поплыло, заструилось кверху.

Вполне можно было послать старушку на любое количество букв, тем более что всю ключевую информацию Николай от нее уже добыл. Но чего-то жалко ему ее стало, недоделанную.

— Конечно, любил, какой вопрос, — буркнул Чухчев и, не дожидаясь, пока Салтычиха просочится через потолок, двинул к выходу — не терпелось поскорей взяться за дело.

— Любил?! Люби-ил? — шелестел за его спиной прерывающийся голос. — Ах, счастье-то какое! Ах, горе-то какое! Ах я, кромешница, ах зверища кровавая! Что ж я с вами, девоньки бедные, понаделала? За что мучила, за что смертью извела? Нету мне прощенья!

Под эти завывания Чухчев и выскочил из подклета — как раз на последнем ударе часов.

Час спустя, с бешено бьющимся сердцем, он медленно шел вдоль серой стены массивного здания, выходящего одной своей стороной на улицу Лубянку, другой на Кузнецкий мост.

Висящая над входом камера подозрительно повернулась в сторону ночного пешехода, но, разглядев милицейскую форму, быстро потеряла интерес. Правильно все-таки Николай выбрал профессию.

«...Тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять», — досчитал капитан, остановился и сделал четкий поворот налево.

Сомнений в том, что стена раздвинется и земля расступится, у него не было. По дороге Чухчев заскочил в общежитие, чтоб поменять треуголку на фуражку, и заодно провел эксперимент: встал перед запертой на

ночь дверью женского этажа, произнес волшебное заклинание и немедленно оказался по ту сторону. Можно было таким же образом проникнуть в комнату 238, полюбоваться на спящего младшего лейтенанта Лисичкину, но Николай отложил это на потом.

Так что беспокоила его не гранитная стена, а совсем другое. Дважды двенадцать саженей — это что-то типа пятьдесят метров. Вроде глубоко, но, говорят, под Фээсбухой хрен сколько подземных этажей. Что, если Салтычихин колодезь давным-давно раскопан и там теперь компьютерный зал или какой-нибудь секретный архив?

Камера снова начала разворачивать тонкую шею, и Николай решился.

«Эх, была не была, — подумал он. — Кто не рискует...» Провел пальцем по губам, по зубам, скороговоркой пробормотал заветные слова и сделал шаг вперед, в за клубившееся молочно-белое облако.

Ну, а что с ним случилось дальше, рассказать нельзя, потому что Государственная Тайна. Во всяком случае, в академию он больше не вернулся.

Вот и вся история. Остается только упомянуть об одном маленьком, но примечательном явлении природы, про которое даже поместили заметку в рубрике «Уголок метеоролога».

На одной из могил Старого Донского кладбища — вроде бы той самой, где, согласно легенде, похоронена знаменитая крепостница Салтычиха, расцвел чахлый, бледно-желтый подснежник. Это в декабре-то!

Правда, оттепель была. В отдельных районах столбик термометра поднимался до десяти градусов Цельсия.

## **Хайгейтское кладбище в Лондоне** **It has all been very interesting, или Благопристойная смерть**

Доехать по Северной линии метро до станции Хайгейт. Долго идти по петляющим меж холмов улицам. Остановиться перед глухой темно-серой стеной.

Прежде чем войти в ворота, остановиться, перевести дух и вспомнить ту Англию, которую знаешь с детства по Диккенсу, Булвер-Литтону, Конан Дойлу и Голсуорси. Здесь, под густыми вязами и дубами (а впрочем, понятия не имею, как называется вся эта флора — нам, городским жителям, это ни к чему) она и похоронена, та самая настоящая викторианская Англия, которая была, правила миром и которой больше уже никогда не будет.

Самое красивое из известных мне описаний Лондона принадлежит Иосифу Бродскому:

Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы. Сердце может только отстать от Большого Бена. Темза катится к морю, разбухшая, точно вена, И буксиры в Челси дерут басы.

Так вот в Хайгейтском кладбище нет ничего похожего на хрестоматийный образ — ни воды, ни звуков, ни биения сердца, ни часов, которые в этом зачарованном королевстве совершенно не нужны.

Часы здесь остановились в царствование последнего из Эдуардов или, быть может, последнего из Георгов — в общем, в те времена, когда Pax Britannica еще не распалась. С тех пор в старой, наиболее почтенной части кладбища больше не хоронят, ибо все пятьдесят тысяч участков со ста шестьюдесятью шестью тысячами захоронений заняты, и стук лопат не тревожит сон великой империи, над владениями которой (треть суши и девять десятых океана) никогда не заходило солнце.

Некрополь заполнил все свои вакансии, перестал приносить доход и кормить многочисленный штат служащих. Век кладбища закончился, и город мертвых стал умирать. Всё здесь пришло в запустение, утонуло в густых, совсем не британского вида зарослях. Сочетание чопорных надгробий и буйной растительности — порядок и хаос, пристойность цивилизации и неприличие стихии — завораживает. Хайгейт — это какие-то диковинные викторианские джунгли, невообразимая квинтэссенция киплингизма. Что-то вроде Маугли в смокинге и Багиры с турнюром на гибкой спине. Или представьте себе Сомса Форсайта в головном уборе из перьев и пышной юбке из травы.

Столь вопиющее нарушение этикета почему-то несколько не нарушает общего впечатления благопристойности. Настоящих леди и настоящих джентльменов сконфузить невозможно, потому что они не утрачивают чувства собственного достоинства никогда и ни при каких обстоятельствах, и даже смерть не оправдание для *inappropriate behavior* (неподобающее поведение — англ.). Высшее и восхитительнейшее проявление британской благопристойности — знаменитая предсмертная фраза писательницы леди Монтегю: «It has all been *very interesting*» («Всё это было очень интересно» — англ.). Дай Бог всякому попрощаться с прожитой жизнью столь же достойным и учтивым образом.

Кладбище было создано в 1839 году, в самом начале правления королевы Виктории, как место упокоения для приличных людей, которые могли позволить себе заплатить 10 фунтов за одинарную могилу,

94 фунта за семейную или 5000 фунтов за великолепный мавзолей. Столь высокая плата обеспечивала эксклюзивность клуба. Разумеется, от нуворишей и торгашей было не уберечься, но в викторианском обществе к деньгам относились с уважением, за выдающиеся успехи в коммерции ее величество жаловало выскочек рыцарским званием и даже возводило в пэры. А иноверцев на Хайгейте хоронили у стенки, в неосвященной земле, подальше от пристойного общества. Именно так, в дальнем углу и без креста, лежит великий Майкл Фарадей, принадлежавший к презренной секте сандеманианцев.

Сто лет назад вид ухоженного, вылизанного Хайгейта у человека с воображением наверняка вызывал тоску и отвращение. Все эти стандартные каменные урны и казенно скорбящие ангелы олицетворяли убожество фантазии покойников: членов парламента, судей, генералов, банкиров, их агрессивное стремление во что бы то ни стало, даже после смерти, не выделяться.

Но для застегнутого на все пуговицы общества жизненно необходимо некоторое, тщательно дозированное количество чудачков. Викторианская эксцентричность прославлена не меньше, чем пресловутая сдержанность. Не обошлось без сумасбродств (впрочем, не выходящих за рамки благопристойности) и на Хайгейте.

Британские чудачества, в общем, известны и осенены данью традиции. Самое почтенное из них — любовь к животным. Вот почему среди кельтских крестов и облупленных гипсовых Спасителей нет-нет да и вылезет каменная морда любимой собаки или кошки. Самый знаменитый из хайгейтских псов — огромный дог кулачного бойца Тома Сэйерса (1826–1865), кумира лондонской публики. Когда боксер умер, его провожала на кладбище десятитысячная толпа, а во главе траурной процессии в гордом одиночестве ехала в карете любимая собака покойного. От Тома Сэйерса на памятнике только профиль, собака же высечена в полный рост.

Да что собака! На могиле владельца зверинца Джорджа Вумвелла (1788–1850) дремлет его любимый лев Нерон, славившийся при жизни благоразумием и мирным нравом, да к тому же наверняка принесший своему хозяину немало прибыли.

Еще причудливее смотрится проявление признательности придворного живодера мистера Джона Атчелера, который велел установить на своей могиле изваяние коня — в обязанности покойного входило умерщвлять состарившихся или выбракованных обитателей королевских конюшен. И вот призрак этих несчастных холстомеров сто пятьдесят лет стоит над скелетом своего убийцы и всё стучит, стучит каменным копытом в крышку его гроба. Так ему, Джону Атчелеру, и надо.

Как люди-чудаки своими выходками расцветивали монохромность викторианского общества, так и надгробья-чудаки оживляют серый город мертвецов. Именно эти немногочисленные скульптурные безумства — нелепое гранитное фортепиано на могиле пианиста, тяжеленный воздушный шар на могиле аэронавта, теннисная ракетка на могиле фабриканта — заставляют посетителя вздрагивать, напоминая о том, что вокруг него тесной, невидимой толпой стоят сто шестьдесят тысяч человек, которые раньше были живы, а теперь обретаются неизвестно где и, возможно, смотрят сейчас на досужего зеваку своими умудренными тайной смерти глазами.

Впечатляют не только скульптурные безумства, но еще и надписи. Это особый вид литературного творчества, часто рассказывающий об ушедшем времени и его обитателях больше, чем сами изваяния. На хайгейтских стелах, как положено, по большей части встречаются краткие CV и приветы от родственников. А также стихи — в основном неважного, «кладбищенского» качества. Но попадаются и маленькие шедевры. Например, четверостишие, высеченное на памятнике профессора-атеиста:

Я не был, а потом я стал.  
Живу, работаю, люблю.  
Любил, работал. Перестал.  
Ничуть об этом не скорблю.

Ни одно мало-мальски известное кладбище не обходится без знаменитостей. Когда некрополь переполняется и перестает функционировать, от бульдозера эту бесполезную зону отчуждения может спасти только магия громких имен, священных для потомства. Чем в конце концов заканчивается, понятно: цены на недвижимость дорастают до отметки, делающей сентиментальность глупым расточительством, и тогда самых прославленных покойников перезахоранивают, а всех прочих оставляют лежать, где лежали, но уже без памятников и надгробий.

Хайгейт пока еще держится — в значительной степени благодаря двум-трем именам, из-за которых кладбище непременно присутствует во всех путеводителях.

Тут есть звезды, так сказать, местного значения — те, кто был славен при жизни и совершенно забыт теперь. Например, легендарный полиглот Луи Прево, который, как явствует из надписи на памятнике, говорил «более чем на сорока языках». Или виртуоз хирургии Роберт Листон, впервые применивший наркоз

и умевший произвести ампутацию ноги за тридцать секунд. Или истинный изобретатель кинематографии Вильям Фриз-Грин, славу которого похитили коварные братья-французы. Впрочем, эти могилы не в счет, им Хайгейт не спасти.

Другое дело — фамильные захоронения семейств Диккенс и Голсуорси. Эти имена способны наполнить благоговением сердце любого британского Лопахина, вырубателя вишневых садов. Беда в том, что оба титана в Хайгейте присутствуют, как теперь говорят, виртуально. Прах Чарльза Диккенса по воле королевы Виктории покоится в Вестминстерском аббатстве, а имя на хайгейтской стеле — произвол брошенной жены Кэтрин, которая пожелала хотя бы посмертно восстановить разрушенную семью.

Не верьте и надписи на могиле Джона Голсуорси. Его пепел, согласно завещанию, развеян над полями Сассекса, а здесь, на том самом кладбище, где хоронили Форсайтов, от писателя остались лишь буквы, вырезанные в граните.

Отсутствие на Хайгейте останков Диккенса и Голсуорси, пожалуй, символично. Хайгейт задумывался как кладбище не для гениев, а для надежной опоры престола, для богобоязненной буржуазии, для верхушки миддл-класса, то есть для самой английской из Англии. Тем чуднее, что главная звезда некрополя, его добрый ангел-хранитель — не англичанин, не христианин и к тому же лютый враг буржуазии.

Здесь, в новой части кладбища, похоронен основоположник коммунизма Карл-Хайнрих Маркс. Если местный муниципалитет завтра объявит, что Хайгейтское кладбище ликвидируется из-за нехватки средств, можно не сомневаться, что великий Китай и менее великая, но еще более верная марксизму Северная Корея немедленно возьмут викторианский заповедник на свое иждивение. Да и сегодня могильщик капитализма является главным кормильцем для своих соседей-эксплуататоров. Именно к нему, грозному и бородатому, приезжают делегации и индивидуальные паломники. И каждый платит кладбищу за вход.

У памятника Марксу всегда живые цветы — об этом я когда-то слышал не то на уроке обществоведения, не то на классном часе. Приехал через много лет, убедился: истинная правда<sup>1</sup>.

Торжество немецкого иммигранта над современниками еще нагляднее по контрасту с соседней могилой — непримиримого марксова врага, философа Герберта Спенсера, который при жизни был куда славнее и влиятельнее, а теперь исполняет роль гарнира при могиле №1 и поминается разве что в любимой хай-гейтской шутке, обыгрывающей название популярной сети универмагов: «Маркс энд Спенсер». (Впрочем, в британских некрополях парадоксальность посмертного соседства — вещь обычная. В Вестминстере, например, Мария Кровавая и Елизавета Великая лежат в одном саркофаге, хотя, как известно, первая усердно истребляла протестантов, а вторая столь же истово изводила католиков.)

Памятник Марксу, пожалуй, хорош. В нем есть и мощь, и трагизм, и энергетика, так что в памяти возникает не портрет с первомайской демонстрации, а живой человек, так драматично повлиявший на ход мировой истории и в том числе на нашу с вами жизнь.

Карл-Хайнрих был человеком сильных страстей. Рассказывали ли вам в школе, что в юности он дрался на дуэли и что над левым глазом у него остался сабельный шрам?

Что последние главы «Капитала» он писал стоя (не мог сидеть из-за фурункулов на седалище) и грозно приговаривал: «Ну, попомнит буржуазия мои чирьи»?

Что он очень гордился аристократическим происхождением жены и настоял, чтобы на визитной карточке у нее было написано: «урожденная баронесса фон Вестфален»?

Что основоположник сделал своей экономке Хелен Демут ребенка и что Энгельс, настоящий друг, объявил виновником себя? Что ради спокойствия фрау Маркс младенца отдали в чужие руки? И что теперь все трое — и Карл, и Женни, и Хелен — мирно лежат под одной плитой?

А еще здесь покоится урна с пеплом любимой дочери философа Элеоноры, которая отравилась из-за несчастной любви. Много лет этот сосуд простоял в штаб-квартире британских коммунистов, потом был арестован полицией и переместился в хранилище Скотленд-Ярда. Воссоединение с семьей состоялось лишь в 1954 году, когда Марксов переселили с одного кладбищенского участка на другой, более престижный.

Не надо было этого делать. Покой мертвых нарушать ни в коем случае нельзя. Мудрые жители древнего Китая хорошо это понимали и за вскрытие могил карали смертной казнью. Какой бы важной ни казалась живущим цель эксгумации, всё равно трогать покойников не стоит — только сделаете хуже и им, и себе.

Взять хоть Маркса. Пока коммунисты не решили его возвеличить, собрав деньги на перезахоронение и монумент, дела у марксизма были в полном порядке. Он триумфально шествовал по континентам, очаровал треть населения Земли и объединил почти всех пролетариев. Но стоило святотатственно вторгнуться в подземное обиталище Карла-Хайнриха, и на головы его последователей обрушились напасти одна ужасней другой: сначала разгром сталинизма и венгерский мятеж, потом конец Великой дружбы СССР и КНР, двух

---

<sup>1</sup> Для полноты картины должен сказать, что на этом исчерпавшем общественную полезность кладбище есть еще одно захоронение, перед которым тоже всегда благоухают цветы. Это сексуальные меньшинства и адепты политкорректности чтут память писательницы Рэдклифф Холл, автора первого романа о лесбийской любви.

главных социалистических держав, et cetera, et cetera вплоть до полного краха коммунистической идеологии.

История Хайгейтского кладбища богата эпизодами, демонстрирующими вред и тщету эксгумаций. Скандальнейшая из них произошла в декабре 1907 года, когда из земли извлекли гроб некоего Томаса Дрюса. Невестка и внук этого торговца с Бейкер-стрит, умершего почти полувеком ранее, утверждали, что под именем Дрюса скрывался герцог Портлендский, известный чудаков и мизантроп, который якобы прорыл из своего дворца подземный ход на Бейкер-стрит и в течение долгих лет имел две семьи и вел двойную жизнь: пэра-миллионера и скромного лавочника. Спор, разумеется, возник из-за права на наследство. Дрюсы десять лет судились, добиваясь санкции на извлечение гроба. Добились. И что же? В могиле лежал не герцог, а плебей. Для одних участников скверной затеи дело закончилось сумасшедшим домом, для других тюрьмой, для третьих бегством из страны. Что же до бедного, безвинно потревоженного Томаса, то у меня имеется гипотеза на сей счет, но о ней чуть позже.

Сначала поговорим о странностях любви.

Жил-был художник-прерафаэлит Данте Гэбриэл Россетти. Он безумно любил очень красивую девушку с волосами цвета испанского золота, звали ее Элизабет Сиддал. Для кружка прерафаэлитов Элизабет была богиней красоты, и почти все они запечатлели ее на своих полотнах. Самое знаменитое, растиражированное уже чуть ли не до конфетных коробок, — «Офелия» кисти Джона Эверетта Миллеса. Элизабет позировала, часами лежа в ванне, среди цветов. Простудилась, заболела чахоткой, стала медленно угасать. Умерла молодой — вскоре после того, как Данте Россетти на ней женился. Безутешный живописец положил в гроб пухлую рукопись своих стихов, посвященных любимой. Это был необычайно — до китча — красивый жест, совершенно в духе прерафаэлитизма. Но шли годы, воспоминания о любви поблекли, а кроме того Россетти решил, что он все-таки в первую очередь поэт, а не художник, и ему ужасно захотелось издать свои лучшие стихи.

Так произошла самая жуткая из хайгейтских эксгумаций. Глубокой ночью при свете костра и масляных ламп разрыли землю, открыли крышку гроба. Очевидцы говорят, что Элизабет за семь лет не истлела и лежала, всё еще похожая на Офелию. Рука в перчатке осторожно отвела в сторону знаменитые золотистые пряди, взяла листки, лежавшие близ мертвого лица, и покойницу упрятали обратно.

Вся эта история, конечно же, послужила отличной рекламой для книги. Только вот поэтической славы автору стяжать не удалось — стихи были жестоко раскритикованы газетчиками. Россетти лишился сна и покоя, весь остаток жизни терзался угрызениями совести, а когда умер, велел похоронить себя не в семейной могиле, а подальше от Хайгейта, вселявшего в него мистический страх.

Что за рассказ о кладбище без поминания жути и нежити.

Пятьдесят тысяч заросших травой и кустами могил (и ни единой живой души — во всяком случае, в старой части кладбища, куда не попадешь без сопровождающего) уже сами по себе являют зрелище неуютное. Даже в дневное время здесь царит абсолютная, противоестественная тишина. Старые деревья так тесно сдвинули свои кроны, что уже в нескольких шагах от аллеи очертания надгробий тонут в полумраке. Идешь и физически ощущаешь на себе пристальный взгляд множества глаз.

В двадцатом веке Хайгейт обветшал и одичал. Когда сюда перестали ходить люди, здесь расплодились редкие для городской черты птицы, ежи, даже лисы. Ну, птички и ежики, это ладно, нестрашно, а вот на лисицах задержимся. Мне как японисту очень хорошо известно, что лисица — зверь непростой. По-японски он называется «кицунэ» и вызывает у храбрых потомков самураев суеверный ужас. Всякому японцу известно, что кицунэ — это оборотень, который способен прикидываться человеком и выкидывать всякие кошмарные штуки. Он похож на европейского вервольфа, только гораздо хитрей и изощренней. Поэтому встреча с кладбищенской лисицей ничего хорошего не сулит. Особенно если это не обычное кладбище, а Хайгейт, где в свое время так увлекались эксгумациями.

Ну, ладно еще выплывет из-за поворота фальшивый герцог Портлендский, укоризненно потрясет седыми бакенбардами, щелкнет крышкой от серебряных часов и прошествует себе дальше. Все-таки коммерсант, солидный человек. А если из-за позеленевшего от мха склепа выглянет золотоволосая красавица с потухшими очами и тихо прошелестит: «Give me back my poems» («Отдай мои стихи» — англ.)? И уж совсем жутко делается, когда представишь косматый призрак растревоженного Карла Маркса в мертвенном свете луны. Призрак бродит по Европе... Бр-р-р.

Не будем забывать и о том, что именно здесь скорее всего похоронен кровожадный Джек-Потрошитель, так и не найденный лондонской полицией. Этот кромсатель уайтчепельских проституток, судя по имеющимся уликам, принадлежал к хорошему обществу. А раз так, то где же еще ему было найти покой, если не на Хайгейте? Только вот могла ли такая душа упокоиться, хоть бы даже и после смерти?

Это еще не все.

В библиотеке Лондонской мэрии я наткнулся на книгу о хайгейтских вампирах, которые лет тридцать назад расплодились в здешних кущах. Автор книги приводит выдержки из газет, в которых говорится об оторванных головах и прокушенных артериях. Но больше всего меня впечатлило не смакование ужасов, а

незатейливые свидетельства местных жителей. «Я возвращался с работы домой. Было примерно полдесятого вечера. Шел по Свейнз-лейн вдоль кладбища... Вдруг вижу — мне навстречу быстро скользит какая-то фигура, совершенно бесшумно. Я ужасно испугался. А потом гляжу — никакой фигуры уже нет...» («Хэмпстед энд Хайгейт экспресс», 20 марта 1970 года.)

Выдумки желтой прессы, думал я, сидя в светлом читальном зале. С удовлетворением прочитал в другой, более благоразумной книжке, что в семидесятые годы на кладбище стали навеваться борцы с вурдалаками — вскрыли несколько могил, пронзили сердца покойников осиновыми колами. Кто-то из гоустбастеров даже угодил за это в тюрьму. Так им, вандалам, и надо, решил я, окончательно успокоившись.

Но, попав на кладбище, я увидел, что входы в некоторые склепы старательно заложены кирпичом, и снова вспомнил нехорошую книжку. Ее автор писал, что двери нескольких особенно подозрительных гробниц замурованы.

Слава богу, я был не один, меня сопровождал туземец, местный хранитель и смотритель. Этот седовласый джентльмен, член общества «Друзья Хайгейтского кладбища», за небольшое пожертвование согласился провести меня в дальний, почти нехоженный конец некрополя. Мне хотелось побывать на могиле чудака по имени Джеймс Холмен, который, будучи совершенно слепым, отправился в кругосветное путешествие и написал книгу о том, что он слышал, обонял и осязал в заморских странах.

Показав на замурованный склеп, я иронично спросил провожатого, правда ли, что это профилактическая мера против вампиров.

Мой чичероне, до сей минуты весьма разговорчивый, вдруг замолчал. Ответил не сразу и как-то очень коротко: «Чушь. Идемте дальше».

Он как-то вдруг помрачнел, отвел взгляд. Да еще не то причмокнул, не то цыкнул зубом. Вероятно, это был английский юмор, но день клонился к вечеру, от могил веяло холодом, над камнями начинал клубиться туман...

Я огляделся по сторонам и вдруг увидел, что из-за куста на меня пристально смотрит низкорослый, коренастый старик с по-бульдожьей брыластыми щеками и дряблым подбородком. Готов поклясться, что секунду назад его там не было!

Незнакомец сглотнул, провел рукой по коротко стриженным седым волосам, его черные глаза прищурились, блеснули, и мне стало здорово не по себе.

Кое-как распрощавшись с гидом, я направился к выходу, уговаривая себя не оглядываться — в конце концов, что за ребячество! Но шаги сами собой делались все длиннее, все быстрее.

## Материя первична

Мавр беззвучно двигался за бородатым мужчиной. Тот, кажется, что-то почувствовал — с каждой секундой ускорял шаг, но это были пустяки. Главное не ошибиться.

Поглядывая на пугливо вжатый в плечи затылок позднего посетителя, Мавр быстро всасывал воздух сверхчуткими ноздрями.

Русский! Это хорошо, это просто замечательно. Чудесная, аппетитнейшая нация! Вкуснее них разве что северокорейцы!

Ну-ка, ну-ка, что еще? Некрещеный. Хорошо!

Не ходит в церковь. Значит, материалист? Отлично!

Был членом Коммунистического Союза Молодежи. С 1971 до 1984-го. М-м-м, превосходно!

В невесомом скачке Мавр перелетел через каменного ангела и возбужденно чмокнул, предвкушая, как захрустят под зубами упругие позвонки, как горячими толчками защекочет небо кровь. Только не увлекаться, не высосать всю до доньшка. Это будет глупый мелкобуржуазный эгоизм.

Многообещающий посетитель пулей вылетел за ворота и облегченно перевел дух. Пошел вдоль стены, даже принялся насвистывать. Успокоился. Ну и славно. Сейчас адреналин у него сойдет, кровь утратит горьковатость, перестанет пениться. Мавр никогда не любил игристых вин.

Он скользил над землей, отделенный от русского материалиста каменной стеной, которую мог преодолеть одним прыжком. Опыт научил: торопиться нельзя, это небезопасно. Насосешься какой-нибудь дряни, а потом мучайся.

В самом начале своей хайгейтской жизни, только-только открыв, что материя нуждается в подпитке, Мавр неосторожно напился крови первого попавшегося буржуа, сдуру прогуливавшегося вдоль кладбища поздно ночью. Последствия были ужасны. То есть, с одной стороны, гипотеза подтвердилась: процесс разложения повернул вспять и материя полностью восстановилась, но нравственно-психологический эффект поверг Мавра в настоящую панику.

Сознание раскисло, разнюнилось, подточенное гнилой филистерской моралью. Появились мысли, которыми он при жизни ни разу не задавался. Например, как он мог взять на себя такую чудовищную

ответственность? Ведь понимал, что за гремучую смесь заваривает в своем кабинете. Не лучше ли было обратить свою интеллектуальную мощь на что-нибудь менее разрушительное? Разве не тошнило его всю жизнь от так называемых народных вожаков и всякого рода революционериков — жадных до власти, безжалостных, самовлюбленных? Разве он не понимал, что такое диктатура пролетариата? Не пришел в ужас от массовых расстрелов Парижской коммуны? Зачем же тогда он потратил столько лет и столько сил, чтобы приблизить кровавое торжество социалистической революции? Неужто из-за одних только фурункулов на заднице и злобы на пиявок-кредиторов?

Никогда еще ему не было так скверно. Но могучая воля возобладала над отравой буржуазности, и впрямь Мавр стал разборчивей в выборе пищи.

О, беспринципность и всеядность стали причиной гибели многих, слишком многих лжематериалистов, не выдержавших испытания. Участь всех этих оппортунистов, без малейшего исключения, была печальна.

Они — те, кто верил в первичность материи и потому был привязан к ней намертво, — делились на две категории.

Во-первых, мягкотелые либералы вроде бедняжки Женни. Как он мечтал после своих похорон вновь оказаться рядом с ней, с единственным по-настоящему близким человеком, принимавшим его целиком и всё ему прощавшим. Но вместо Женни его ждали в могиле одни лишь кости.

Нет, она не могла его предать, перекинувшись на сторону идеализма, это исключено. Женни искренне верила в то же, во что верил ее супруг, она никогда не умела притворяться. И, попав на кладбище, она, конечно же, быстро почувствовала, что без притока свежего гемоглобина белковая материя скоро распадется. Но Женни никогда не стала бы пить кровь — чересчур добренькая, плюс аристократические предрассудки: как это можно — укусить незнакомого человека за шею? Вот и иссохла, превратилась в Ничто, а значит все-таки предала.

Про служанку Ленхен и говорить нечего — в землю опустили бессмысленный кусок мертвого мяса. Темная, отсталая женщина. Поди, едва умерла, сразу же кинулась к своему боженьке вымаливать прощения для герра доктора.

Вторая категория лжематериалистов — неразборчивые в средствах хапуги, пошедшие по стопам перерожденца и предателя рабочего класса Лассалья. Именно такие в двадцатом веке и погубили великое дело марксизма. Не в силах терпеть лишения и голод, они кидались на первого же посетителя и очень скоро, согласно законам диалектики, материя начинала главенствовать над их сознанием. Налакавшись классово чуждой крови, они сами превращались в добропорядочных буржуа, обрастали идеологическим жирком, начинали заигрывать с боженькой.

Пройдет пара лет — глядишь, и нет бывшего материалиста, в могиле осталась одна тухлятина.

Из долгожителей на Хайгейте кроме Мавра остался только Джек, но они уже больше ста лет не разговаривают и даже не здороваются. Поздоровайся с таким. Ты ему: «Good evening» — а в ответ слышишь: «Слава Люциферу!» Вот он, закономерный итог безмозглого прудонизма. Жалкие торопыги, не понимающие, что революцию не приблизишь мелкими провокациями и политическим терроризмом. Пока был жив, Джек кромсал несчастных лондонских шлюх, чтобы вызвать в трущобах погромы и народный бунт, который перерастет в анархистское восстание. Потом уайтчепельские сутенеры, не надеясь на полицию, сами выследили Потрошителя, без шума прирезали и кинули в сточную канаву — как жертву обычного ограбления. Когда новенького привезли сюда, соскучившийся по собеседникам Мавр попытался втолковать ему, что подобными методами классовое самосознание у пролетариата не пробудить. Какие приводил аргументы, какие примеры из истории! Только бисер метал. Эта свинья повадилась жрать свежую мертвечину и на этой почве быстро перековалась в сатанисты. Ох уж эти метания бунтарей из среднего класса!

Сто двадцать лет без семьи, без единомышленников, без письменного стола. Тяжело, когда дух — тьфу, не дух, а сознание — привязано к материи. Всякое было: тощие годы, тучные годы.

Начало было совсем скудное, будто и не умирал. Как всю жизнь провел в погоне за куском хлеба, так и здесь существовал впроголодь.

Смерть материалиста — явление прозаическое, Мавр ее почти что и не заметил.

Сидел дома, на Мейтленд-парк-роуд, в любимом кресле. Смотрел на огонь в камине, закашлялся. И что-то лопнуло в груди. Хотел позвать дочь, но звука не получилось. Да и рот не открылся.

Тусси сама вошла, минуты через две. Подошла, наклонилась и вдруг как закричит: «Мавр! Мавр! О Господи! Господи!»

Только услышав, как дочь в его присутствии произносит это запрещенное слово, он понял, что произошло. Никакого страха не испытал, одно любопытство. Ну те-ка, что дальше? Неужто к боженьке на судебное разбирательство? Черта с два!

Вдруг увидел комнату сверху: плачет женщина, укутанный пледом старик свесил голову на грудь, по морщинистому подбородку течет слюна (свою знаменитую бороду он обрил еще полгода назад — надоела,

только сфотографировался напоследок). Мавра потянуло еще выше, к самому потолку, но он строго прикрикнул на себя: «Сознание в отрыве от материи не существует!» — и в тот же миг снова оказался в собственном теле, совершенно онемевшем и неподвижном.

Потом были похороны, преотвратные. Сколько раз он воображал, как его будут провожать в последний путь сотни тысяч пролетариев, как произнесут над катафалком пламенные речи и торжественные клятвы.

Как же!

Гроб был самый дешевый, за четыре с половиной фунта, венки такой, что лучше бы его вообще не было. На кладбище соизволили прийти всего одиннадцать человек.

Правда, Генерал сказал хорошую речь. Но когда, разойдясь, крикнул, что имя и труд усопшего переживут столетия, маловвер Либкнехт поморщился, а кое-кто даже усмехнулся — Мавр видел: после смерти зрение у него стало отменное, как в юные годы.

Плакала одна Тусси. Ее, дуреху, было жалко. Внезапно Мавр увидел, как она умрет: запрокинув голову, выпьет синильную кислоту, а мужчина, который обещал уйти из жизни вместе с ней, пить яд не станет. Посмотрит на корчащуюся в предсмертных муках любовницу, брезгливо скривится и выйдет. Ему умирать рано — у него есть другая женщина, помоложе и по красивей.

Будто услышав безмолвное предостережение, дочь заревела в голос, так что конца речи Мавр толком не слышал.

Генерал первым бросил на крышку гроба горсть земли. «Бр-р-р, только не к червям, — услышал его мысль покойник. — Сначала кремация, потом прах развеять над морем, и adieu».

Старина Фридрих всегда был легкомысленным, ему не хватало настоящей твердости. Как он гордился своим воинственным прозвищем, не догадываясь, что все над ним подтрунивают. Хорош «Генерал» — неделю провоевал, а после только на лисью охоту катался, «дабы не растрачивать кавалерийские навыки». Чтобы дожидаться победы пролетариата во всем мире, нужно иметь крепкие нервы и стальное терпение. Прах над морем для настоящего материалиста — непозволительная роскошь.

А ведь было время, когда казалось, что ждать осталось недолго. На смену тощим годам пришли тучные. В самом захудалом уголке буржуазного кладбища всё чаще стали появляться посетители: сначала поодиночке, потом целыми делегациями. Чахлые букетики сменились венками с лентами чудесно-сочного, кровавого оттенка, зазвучали разноязыкие речи, а потом свершилось триумфальное переселение в самый почетный квартал Хайгейта, увенчанное возведением памятника. В камне Мавр был увековечен таким, каким никогда не был при жизни: титаническим, грозным, богоподобным. Жаль, что чванный Спенсер не был материалистом и не досуществовал до этого великого дня, а то изгрыз бы свою могилу от зависти.

Десятилетие за десятилетием Мавр питался как в лучшем ресторане. Бесшумно подкравшись к одиночному паломнику или затесавшись в толпу, не спеша принимался, выбирал объект поаппетитней и обстоятельно, без жадности лакомился. Бывало, приложится к одному, к другому, на десерт оставит какую-нибудь социал-демократку с затуманенным взглядом. И в каждой ранке оставит немножко своей слюны, чтобы укушенный вынес с Хайгейта частицу великого Карла. То-то марксизм зашагал по миру!

Но жадные до наживы лассальянцы предали дело пролетариата. Мавр понял это, еще когда члены коммунистических делегаций обзавелись дорогими габардиновыми пальто и отрасли мясистые щеки. В их крови всё явственней ощущался привкус жира, так что она стала трудноотличимой от крови какого-нибудь банкира или брокера.

А потом случилась катастрофа.

Уже больше десяти лет Мавр существовал впроголодь. Делегации появлялись всё реже, одиночные материалисты и вовсе исчезли — теперь приходили одни туристы с фотоаппаратами, и каждому хотелось сняться, непременно держась за каменную бороду пролетарского Мессии. Последний раз по-настоящему подкрепился, когда навещали кубинские товарищи. С голодухи напился до икоты густого креольского нектара, а потом долго отрыгивал долларовые закорючки — кровь жителей Острова Свободы оказалась зараженной микробами желтого дьявола.

С тех пор прошло два месяца. За всё это время ни одного мало-мальски съедобного материалиста. Активисты местного отделения компартии, ежедневно приносящие на могилу по красной гвоздичке, не в счет. Они все кусаны-перекусаны, у них в жилах вместо крови одна Маврова слюна.

Чтобы кожа не покрылась трупной зеленью и не разошлись суставы, приходилось подкармливаться суррогатом. Но от этого, во-первых, притуплялось рациональное мышление, а во-вторых, в сединах начинала проступать мерзкая рыжина. Еще немного — и начнешь по ночам выть на луну.

И вдруг настоящий русский! Лысый, с бородкой — совсем как тот, другой, что пришел на могилу сто лет назад с алой розой в руке. Ах, какая у него была кровь! В меру острая, с пикантной горчинкой, чуть-чуть охлажденная. Мавр сдобрил ее своими ферментами, и она вскипела, запенилась, помчалась по артериям. «Наденька! — воскликнул русский, обращаясь к своей пучеглазой спутнице. — Идем назад, на съезд! Я покажу этим импотентам и политическим проституткам, что такое диалектика!»

Возбуждись от сладостного воспоминания, Мавр взлетел на ограду и засеменял по ее гребню, готовый вспрыгнуть на закорки одинокому пешеходу.

Момент был идеальный: на узкой дороге, зажатой между стенами обеих половин кладбища, было пусто — ни машин, ни велосипедистов.

Последний, самый глубокий вдох перед прыжком.

Стоп! Что это за гнусный запахок?

Мавр часто-часто задвигал широкими ноздрями.

Не может быть! Строгий выговор с занесением в учетную карточку в 1982 году! Регулярная неуплата членских взносов! Спал на лекциях в Университете марксизма-ленинизма!

За кого — за кого он голосовал на выборах?

Какая гадость!

Мелкобуржуазное отребье, гнусный либералишка вроде четырежды рогатого осла Виллиха или ренегата Гервега!

Тьфу! Мавра чуть не вытошнило — он брезгливо отвернулся и зажал нос.

Надо же, чуть не напился отравы.

Беднягу зашатало, близился голодный обморок. Но тут, на счастье, Мавр разглядел под ракитовым кустом суррогат.

Взмыл в воздух, упал на тощую серо-рыжую спину и впился зубами в мохнатый затылок. Урча и выплевывая клочки шерсти, стал сосать вязкую звериную кровь. Подумал с мрачной иронией: жалко, нет Генерала, он обожал лисью охоту.

Ко всему привычная кладбищенская лисица стояла смиренно — ждала, пока вампир насытится, и лишь боязливо прижимала к макушке изъеденные блохами уши.

## **Кладбище Пер-Лашез в Париже Voila une belle mort, или Красивая смерть**

Здесь чувствуешь себя Наполеоном на поле Аустерлица. Повсюду пир смерти, много бронзового оружия, картинно расprostертых тел, и периодически возникает искушение воскликнуть: «Voila une belle mort!» («Вот прекрасная смерть!» — фр.).

Voila une belle cimetiѐre. Дело не в ухоженности и не в скульптурных красотах, а в абсолютном соответствии земле, в которой вырыты эти 70 000 ям. Бродя по аллеям, ни на минуту не забываешь о том, что это *французская* земля, даже когда попадаешь в армянский или еврейский сектора. И если на Старом Донском кладбище в Москве возникает ощущение, что там похоронена прежняя, ушедшая Россия, то Франция кладбища Пер-Лашез выглядит вполне живой и полной энергии. Может быть, дело в том, что это главный некрополь страны, а подобное место сродни фильтру: всё лишнее, примесное, несущественное уходит в землю; остается сухой остаток, формула национального своеобразия.

Франция — одна из немногих стран, чей образ у каждого складывается с детства. У меня такой же, как у большинства: д'Артаньян (он же Наполеон и Фанфан-Тюльпан), великий магистр тамплиеров (он же граф Сен-Жермен и граф Монте-Кристо) и, конечно, Манон Леско (она же королева Марго и мадам Помпадур). Можно обозначить эту триаду и иначе, причем прямо по-французски — слова понятны без перевода: *aventure, mystere, amour*. Клише, составленное из книг и фильмов, так прочно, что никакие сведения, полученные позднее, и даже личное знакомство с реальной Францией уже не способны этот образ изменить или хотя бы существенно дополнить. А главное, не хочется его менять. Настоящая, а не книжная Франция — такая же скучная, прозаическая страна, как все страны на свете; ее обитатели больше всего интересуются не любовью, приключениями и мистикой, а налогами, недвижимостью и ценами на бензин. Поэтому Пер-Лашез — истинная отрада для франкофила, к числу которых относится 99 % человечества за исключением разве что корсиканских и новокаледонских сепаратистов. На Пер-Лашез ни бензина, ни налогов. Недвижимость, правда, представлена весьма наглядно, но метафизический смысл этого слова явно перевешивает его коммерческую составляющую.

Если всё же говорить о коммерции, то первый участок на Шароннском холме площадью в 17 гектаров был приобретен городом Парижем у частных владельцев 23 прериала двенадцатого (и последнего) года Первой республики, то есть в 1804 году. Кладбища, располагавшиеся в городской черте, превратились в рассадники антисанитарии, посему мэрия распорядилась перевезти миллионы скелетов в Катакомбы, а для новых покойников учредила паркообразные некрополи в пригородах.

Поначалу кладбище нарекли Восточным, но прижилось другое название, нынешнее. Оно означает «Отец Лашез» — когда-то здесь доживал свой век знаменитый Франсуа де ла Шез, духовник Короля-Солнце.

В первые годы, как это обычно и бывает, мало кто хотел хоронить дорогих родственников в непрестижном захолустье, поэтому власти предприняли грамотный пиаровский ход: переселили

на Пер-Лашез некоторое количество «звезд». Начало было не вполне удачным — перезахоронение останков Луизы Лотарингской, ничем не выдающейся супруги ничем не выдающегося Генриха III, не сделало кладбище модным. Однако за что я больше всего люблю Францию — так это за то, что здесь с давних пор литература значила больше, чем монархия. Когда в 1817 году на Шароннский холм перенесли останки Абеляра, Лафонтена, Мольера и Бомарше, упокоение на Пер-Лашез стало почитаться за высокую честь. Тогда-то и было положено начало пер-лашезовскому туризму.

Двести лет здесь закапывают в землю знаменитых и/или богатых покойников, поэтому такого количества достопримечательностей нет ни в одном другом некрополе мира.

Начну, пожалуй, с той, про которую детям советской страны рассказывали в школе — со Стены Федералов. Отлично помню школьный урок истории, посвященный столетию Парижской Коммуны: «Кровавая майская неделя», версальские палачи, мученики кладбища Пер-Лашез. Вероятно, именно тогда я впервые услышал это название. Сегодня поражает не сам факт казни (в конце концов, коммунары, пока были в силе, тоже расстреляли не брезговали), а соединение несоединимого. Обычно Смерти доступ на погост закрыт. Умирают и убивают где-то там, за оградой, в большом и опасном мире, а сюда привозят лишь бранные останки, уже распрощавшиеся с душой. На Пер-Лашез же попахивает живой кровью, потому что здесь убивали много и шумно. Сначала в 1814 году, когда русские казаки перекололи засевших на холме кадетов военной школы. А потом в 1871 году, во времена Коммуны: французы несколько дней палили друг в друга, прячась между гробниц, и убили почти тысячу человек, но этого им показалось мало, и полторы сотни уцелевших революционеров были расстреляны майским утром у невысокой стенки. Теперь в этом секторе хоронят коммунистов, и венки на окрестных могилах почти сплошь красного цвета.

Никогда не видел на старинных кладбищах, у могил, которым сто или даже больше лет, такого количества живых цветов. Многих из тех, кто лежит на Пер-Лашез, помнят и любят — должно быть, именно поэтому здесь совсем не страшно и даже не очень грустно.

Вот розы, хризантемы и *лилии* на респектабельно-буржуазной гранитной плите, приютившей Эдит Пиаф и ее молодого мужа, греческого парикмахера, которого великая певица хотела сделать звездой эстрады, но не успела.

Моих скромных ботанических познаний не хватит, чтобы назвать всю флору, которой усыпана могила Ива Монтана и Симоны Синьоре. В этом изобилии чувствуется некоторая истеричность — у всех свежа в памяти недавняя история с эксгумацией тела Монтана. Некая Аврора Дроссар, 22 лет от роду, утверждала, что он — ее отец, и добилась-таки генетической экспертизы через суд. Покойника достали, отщипнули кусочек, но анализ ДНК факта отцовства не подтвердил, и певца закопали обратно. Жалко Монтана. Я помню его молодым, красивым и всеюгодно любимым. «Когда поет далекий друг». А еще я помню фильм «Девочка ищет отца», и поэтому ненавидимую всем французским народом Аврору Дроссар мне жаль еще больше, чем Монтана. Ему-то что, а каково теперь живет на свете ей, бедняжке?

Целая толпа людей деловито щелкают фотоаппаратами у памятника, украшенного красно-белыми букетами, по цветам польского флага. Здесь усыпальница бессердечного Шопена. Бессердечного в том смысле, что композитор был похоронен без сердца, увезенного за тысячу километров отсюда, в варшавский костел.

Главное архитектурное сооружение кладбища — мавзолеем графини Демидовой, пее Строгановой, своими размерами и помпезностью очень похожий на новорусские дачи по-над Рублевским шоссе. «Старые» русские тоже когда-то были «новыми» русскими и хотели пускать пыль в глаза. Так что ничего нового под солнцем нет, в том числе и русских; что было, то и будет. Новорусские новориши, какими были когда-то и Демидовы со Строгановыми, со временем уяснят себе, что истинное богатство не в гигантомании, а во вдумчивости, и подлинная эффектность — та, что адресована не вовне, но внутрь.

Такова, например, усыпальница богача с почти русской фамилией Раймонда Русселя (1877–1933). Он писал стихи и прозу для собственного удовольствия, а в последние годы жизни увлекся шахматами. Похоронен один в 32-местном склепе, по числу шахматных фигур. Если поломать голову над этим мудреным мессиджем, расшифровка получается примерно такая: здесь покоится король, растерявший в долгой и трудной партии всех своих пешек и слонов, но тем не менее одержавший победу.

Много времени у меня ушло на поиски захоронений двух иностранцев, которых мало кто навещает. Я еле нашел их среди тысяч и тысяч одинаковых табличек в колумбарии. «ISADORA DUNCAN. 1877–1927. Ecole du Ballet de l'Operade Paris» и «NESTOR MAKHNO. 1889–1934». Это были особенные люди. На протяжении всей жизни обоих, каждого на свой лад, сопровождали вспышки молний и раскаты грома. Теперь затаились двумя скромными квадратиками среди тихих, безвестных современников. Также своего рода мессидж, и разгадать его потрудней, чем русселевский.

Главная звезда нынешнего Пер-Лашез — тоже иностранец, Джим Моррисон. Большинство посетителей приезжают на кладбище только ради этой невзрачной могилки (раньше был бюст, но его украли). От главных ворот — сразу сюда, в шестой сектор. Покрутят музыку тридцатилетней давности, покурят дурманной травы.

В прежние времена, говорят, иногда и оргии устраивали, но мне не повезло — не застал. Впрочем, надолго я там не задержался, потому что в юности был равнодушен к песням группы «Дорз».

У меня был разработан свой маршрут, собственная иерархия пер-лашезовских достопримечательностей.

Я двигался с запада на восток и начал с четвертого сектора, где лежит Альфред де Мюссе. Не то чтобы он относился к числу моих любимых писателей; на его могилу меня влекли любопытство и еще подобие родственного чувства. Из всех деревьев я безошибочно идентифицирую только березу и в описаниях природы обычно руководствуюсь не зрительным образом, а звучанием. К примеру, пишу что-нибудь вроде: «ольхи и вязы закачали ветвями», хотя понятия не имею, как они выглядят, эти самые ольхи с вязами, и вообще растут ли бок о бок. Неважно — правильно составленные звуки создают свой собственный эффект. Вот и Мюссе, кажется, был того же поля ягода. Распорядился, чтоб над его могилой посадили плакучую иву — на памятнике даже высечена красивая эпитафия о том, как легкая тень скорбного дерева будет осенять вечный сон поэта. Да только откуда на сухом холме взяться ивам? Я пришел, удостоверился: ива есть, но чахлая. Сразу видно — не жилища. Сколько же их, бедных, загубили тут садовники за полтора-то века, и всё из-за нескольких красивых строчек. Мне как литературоцентристу эта мысль приятна.

С четвертого участка — на соседний пятьдесят шестой (нумерация на Пер-Лашез какая-то странная, скачущая), взглянуть на могилу Раймонда Радиге (1903–1923), умершего от скоротечной тифозной лихорадки. Перед тем как заболеть, вундеркинд сказал Жану Кокто таинственную фразу, которая много лет не дает мне покоя: «Через три дня меня расстреляют солдаты Господа». Откуда он знал? Кто ему сказал? Давно подозреваю, что писательский дар заключается не в умении выдумывать то, чего нет, а в особенном внутреннем слухе, позволяющем слышать тексты, которые *уже где-то существуют*. И самый гениальный из писателей — тот, кто точнее всего записывает этот мистический диктант. Я постоял над ничем не примечательной могилой, прислушался. Ничего особенного не услышал.

Перешел в сектор 49, где покоится другая тайна под именем Жерар де Нерваль, благородный безумец, повесившийся на уличной решетке январской ночью 1855 года. Мраморная колонна, увенчанная скучнейшей античной урной, напоминает восклицательный знак, а должна была бы изображать знак вопросительный.

Он прожил жизнь свою то весел, как скворец, То грустен и влюблен, то странно беззаботен, То — как никто другой, то как и сотни сотен... И постучалась Смерть у двери наконец... Ах, леностью душа его грешила, Он сохнуть оставлял в чернильнице чернила, Он мало что узнал, хоть увлекался всем, Но в тихий зимний день, когда от жизни брэнной Он позван был к иной, как говорят, нетленной, Он уходя шепнул: «Я приходил — зачем?»

(Ж. де Нерваль «Эпитафия». Пер. В. Брюсова).

«Ну и зачем же?» — спросил я у колонны. «Придет время, узнаешь», — ответила она, и я, вполне удовлетворенный ответом, отправился дальше, на 47-й участок, к Оноре де Бальзаку.

Туда меня влекла не тайна, а давнее сочувствие. Помню, как подростком читал у Стефана Цвейга про толстого, одышливого писателя, всю жизнь тщетно гнавшегося за богатством, любовью и счастьем; как негодовал на расчетливую графиню Ганскую, измучившую этого большого ребенка многолетним ожиданием и давшую согласие на брак, только когда Бальзаку оставалось жить считанные месяцы. И вот он приготовил для невесты роскошное жилище, и поехал жениться в Бердичев, и женился, и написал в письме: «У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, но у меня будет самое сверкающее лето и самая теплая осень». Потом привез надменную супругу в Париж, всё лето мучительно болел, а до осени так и не дожил. Эвелина Ганская пять месяцев была женой живого классика, потом 30 лет вдовой мертвого классика, и еще 120 лет лежит с ним под одной плитой.

От бальзаковского бюста, спереди очень похожего на шахматного коня, рукой подать до 86-го и 85-го участков. Там находятся еще два надгробья, входивших в мою обязательную программу.

Первое меня разочаровало. Бесстрастная черная плита. На самой узкой из граней — чопорные золотые буквы «Marcel PROUST 1871–1922». Взгляду задержаться не на чем. Я-то представлял себе нечто родственное прустовской прозе: причудливое, избыточное и вязкое, предназначенное для долгого и вдумчивого созерцания. Увы, вдумываться тут не во что. На первый взгляд. А постояв минуту-другую, начинаешь понимать, что черный мрамор — это не про гениального писателя, а про странного, нелюдимого человека, проведшего последний период жизни в добровольном затворничестве, отгородившегося от внешнего мира плотными шторами и звуконепроницаемыми панелями. Великий писатель интересен и значителен не как личность, а как сочинитель текстов, правильно расставляющий на бумаге слова. И всё лучшее, главное, что нужно про писателя знать, сказано в его книгах. Человека же и тем более его могилу рассматривать незачем. Ну, человек как человек, могила как могила.

Несколько пристыженным нарушителем чужой приватности я перешел на соседний участок, и настроение мое переменялось. Все-таки истинные литераторы не прозаики, а поэты, подумал я, рассматривая затейливые письмена на могиле Вильгельма-Аполлинария Костровицкого, более известного под именем

Гийом Аполлинер. Во-первых, поэт обходится гораздо меньшим количеством слов, а стало быть, удельный вес и смысл каждой буквы во много раз больше. А во-вторых, для того чтобы оценить гений иноязычного стихотворца, необходимо сначала в совершенстве овладеть его языком, то есть изучить сложнейший, многокомпонентный код; иначе придется верить на слово чужеземцам. Гибель человека по имени Аполлинер затерялась крошечной песчинкой в двойном урагане смертей: поэт умер в последние дни Первой мировой войны от испанки, которая унесла куда больше жизней, чем все Верден и Марны вместе взятые. Но его могила ничего не рассказывает про страдания и умирание плоти, на камне тесно высечены слова, слова, слова: сначала регулярными шеренгами четверостиший, потом каллиграммой, в виде сердечка. Я даже не стал вчитываться в это стихотворное послание, его смысл был мне и так понятен: вначале было Слово, и в конце останется только Слово, и будет тьма над бездной, и Дух Божий станет носиться над водой.

Покончив с обязательной программой, обходом литераторских могил, я почувствовал себя свободным и пустился в бессистемное плавание по аллеям и тропинкам, чтобы ощутить вкус, цвет и запах Пер-Лашез — его букет. Тогда-то и выкристаллизовалась упомянутая выше триада, обаятельная формула французскости: *aventure, mystere, amour*.

Воздух *aventure* — не столько даже «приключения», сколько именно «авантюры» — для этого кладбища естественен и органичен, ибо слишком многое связывает Пер-Лашез с именем великого авантюриста, взлетевшего из ничтожества к вершинам славы и могущества, а затем низвергнутого с пьедестала на маленький пустынный остров. Этот некрополь был создан в год коронавания Наполеона; впервые обагрился кровью в год падения Корсиканца; во второй раз был расстрелян в год окончательного краха бонапартизма. Здесь похоронены женщины, которых любил или, во всяком случае, обнимал император: актрисы мадемуазель Жоржи, мадемуазель Марс, канатная плясунья мадам Саки и «египтянка» Полина Фурес, прекрасная графиня Валевска. Здесь лежат почти все наполеоновские маршалы. Бонапарту в час его грустной кончины, в полночь, как свершается год, следовало бы приставать на воздушном корабле не к высокому берегу, а к Шароннскому холму. Усачи-гренадеры его бы не услышали, потому что им на уважаемом кладбище не место, они спят в долине, где Эльба шумит, под снегом холодной России, под знойным песком пирамид. А вот маршалы — и те, что погибли в бою, и те, что ему изменили и продали шпагу свою — непременно откликнулись бы на зов, вылезли бы из пышных усыпальниц, блестя золотыми галунами, и выстроились под простреленным штандартом с буквой N. А мадемуазель Ленорман откинула бы серую крышку своей гробницы, расположенной неподалеку от главного входа, и предсказала этому великопленному воинству блестящие победы и красивую смерть.

Но воспоминание о знаменитой сивилле, напрозорчившей маленькому южанину невероятную судьбу, — это уже из области *mystere*. Из всех паломнических потоков именно этот, взыскующий эзотерических таинств, на Пер-Лашез самый полноводный — куда там любителям литературы, продолжателям дела Коммуны и даже почитателям Джима Моррисона.

Мавзолей Лиона Ривайля (1804–1869), более известного под именем Аллан Кардек, сплошь покрыт цветами и окружен тесным кольцом верующих. Основателя спиритического учения о перерождении духовной субстанции сегодня помнят только в двух странах: во Франции и в Бразилии, но зато как помнят! И если во Франции Кардека воспринимают как мистического философа, то в огромной южноамериканской стране он почитается новым мессией, пророком религии, насчитывающей миллионы последователей. Перед усыпальницей Кардека молятся по-португальски и кладут записки на французском, благоговейно прикасаются к плечу бронзового бюста. Я видел целую очередь из алкающих чуда — конечно, не такую, как в прежние времена перед мавзолеем Ленина, но зато и лица у богомольцев были не любопытствующими, как на Красной площади, а сосредоточенно-взволнованными. На памятнике написано: «Родиться, умереть, снова родиться и беспрестанно совершенствоваться — таков закон».

Продолжение этой вполне буддийской максимы можно прочесть на стеле Гаэтана Лемари, ученика Кардека: «Умереть означает выйти из тени на свет». По-ихнему, по-спиритски, получается, что мы, гуляющие с фотоаппаратами по солнечным дорожкам, на самом деле бродим во тьме, а покойники, лежащие в земле, под прогнившими досками, купаются в лучах ослепительного сияния. Значит, всё самое интересное и чудесное у нас впереди? Что ж, неплохое учение.

Надгробие оккультиста Папюса, которого наши отечественные историки изображают не иначе как шарлатаном и мелким жуликом, тоже всё в цветах. Очевидно, во Франции Жерара Анкосса (таково его настоящее имя), «великого магистра Ордена мартинистов», оценивают иначе. Для России Папюс — всего лишь одно из предраспутинских увлечений императрицы Александры Федоровны. Это он устроил пресловутую встречу Николая II с духом венценосного родителя. Сибирский Старец (которого Папюс терпеть не мог и от влияния которого всячески предостерегал царя) совершенно затмил дипломированного французского шамана. А между прочим, Папюс еще в 1905 году предсказал русскому императору его трагическую судьбу, но пообещал оберегать Романовых, пока будет жив. Умер на исходе 1916 года. Впрочем, как и Распутин. Верить в мистическую взаимосвязь событий или нет? Находясь на Пер-Лашез, веришь.

Особенно когда меж могильных плит проскользнет тощая пер-лашезская кошка, которых здесь, согласно путеводителю, проживает около сотни. Они бесшумны, стремительны и не вступают с людьми ни в какое общение. Может быть, только со служителями, которые их кормят? Или они сами кормятся, жрут каких-нибудь там воробьев? Кошки, в отличие от собак, существа из ночного, зазеркального мира. На кладбище им самое место. Однако на Пер-Лашез я попал в марте, и кошки вели себя самым что ни на есть мартовским образом. Поначалу этот диссонанс с окружающей декорацией забавлял, вызывая в памяти картину «Всюду жизнь», но потом я вдруг подумал: а ведь это не случайно — блудливые кошки и сладострастные завывания из кустов. Тогда-то я и заметил главное из звеньев пер-лашезовской триады, *amour*.

Пер-Лашез — некрополь любви, во всех смыслах этого многоцветного явления: и грустном, и романтическом, и комичном, и непристойном.

На всяком кладбище, даже очень старом, всегда ощутим острый, трагический аромат *разорванной* любви — когда смерть отрывает любящих друг от друга. Пер-Лашез хранит множество печальных и красивых историй этого рода.

Вот статуя полководца Бартеlemi Жубера, замертво падающего с коня на следующий день после свадьбы. Их было несколько, молодых гениев революционных войн, и каждый мог стать императором. Самый яркий из всех, 29-летний Гош, скоропостижно умер; 30-летнего Жубера сразила при Нови пуля суворовского солдата. А генерал Бонапарт, который должен был пасть на Аркольском мосту или в Египте, уцелел. Почему? Бог весть. Он стал великим, развелся с любимой женщиной и женился на нелюбимой, отрастил брюшко и умер от рака желудка. Жубер же остался в памяти потомков вечным молодоженом, женихом смерти.

Гробница наполеоновского министра Антуана де Лавалетта напоминает о другой любовной драме, пожалуй, еще более душераздирающей. После Ста дней граф де Лавалетт ожидал в камере расстрела. Накануне казни к нему на последнее свидание пришла жена и поменялась со смертником одеждой. Он вышел на свободу, она осталась в темнице — романтический трюк, который в литературе был использован множество раз, а в настоящей жизни почти никогда. Только концовка получилась неромантической. Самоотверженную графиню оставили гнить в каменном мешке, и она сошла там с ума. Отсрочка смерти (судя по датам на памятнике, протяженностью в 15 лет) досталась Лавалетту слишком дорогой ценой.

А другая любящая женщина, жена Амедео Модильяни, на следующий день после его смерти выбросилась из окна. Ее не остановила даже девятимесячная беременность. Все трое — и муж с женой, и их нерожденный ребенок — лежат под неприметным камнем на 96-м участке. Подобные истории, как и двойные самоубийства влюбленных, волнуют особенным образом, вне зависимости оттого, сколько прошло лет. Что это было, думаешь ты: победа Смерти над Любовью или, быть может, наоборот?

Но кладбище Пер-Лашез вырыто в земле Франции, страны галантной и легкомысленной, где трагедия — не более чем тучка на краю небосвода, которой не дано расползтись на всё небо. Долго лить слезы из-за горестной любви вам здесь не удастся, потому что во Франции от возвышенного до игривого всего один *centimetre*, а от телесного верха до телесного низа и того меньше.

Соединение любви и смерти, оказывается, бывает и комичным — в жанре черного юмора.

Прекрасное бронзовое надгробье президента Феликса Фора (1841–1899) у незнающего человека вызывает благоговение: государственный муж лежит в обнимку со знаменем республики. *Oh Captain, my Captain! Voila une belle mort!* И прочее. Однако у современников, осведомленных о том, что его превосходительство скончался в объятьях любовницы, эта аллегория должна была вызывать совсем иные ассоциации. Шутка со столетней бородой: «Президент Фор пал при исполнении обязанностей».

Другая бронзовая фигура, тоже возлежащая, смешивает высокую трагедию и скабрёзность еще более пикантным образом. Общественный скандал 1870 года: известный буйан и головорез принц Пьер Бонапарт застрелил юного журналиста Виктора Нуара, который посмел доставить его высочеству вызов на дуэль. В похоронах жертвы монархического произвола приняли участие 100 000 человек, это событие стало громовым раскатом, предвещавшим скорое падение Второй империи. Растроганный скульптор изобразил прекрасного юношу с предельной достоверностью: вплоть до каждой складочки на одежде. То ли из-за этого самого натурализма, то ли не без задней мысли (Нуар имел репутацию сердцееда) ширина статуи довольно заметно оттопыривается. Должно быть, поначалу это меньше бросалось в глаза, но через сто с лишним лет бронзовая выпуклость выделяется нестерпимым сиянием. Дело в том, что памятник стал объектом языческого поклонения для бесплодных или страдающих от безответной любви женщин — они приносят Нуару цветы и истово глядят магическое место. Рассказывают, что некоторым помогает.

Этот сюжет окончательно перемещает нас в область телесного низа, но тут уж ничего не поделаешь: обойти эту деликатную тему молчанием означало бы отцензурировать, *выхолостить* ауру Пер-Лашез. Целый ряд достопримечательностей кладбища так или иначе связан с мужским детородным органом — с его чрезмерным присутствием, как в случае застреленного журналиста, или же, наоборот, с его

многозначительным отсутствием.

Праха романтических возлюбленных, Абеяра и Элоизы, был перенесен сюда в начале XIX века и погребен в помпезной готической усыпальнице. Как известно, разгневанный опекун Элоизы покарал сладкоголосого соблазителя и оскотил его, сделав физическое единение любовников невозможным. Абеяру и Элоизе пришлось принять постриг, и вновь они оказались на одном ложе лишь семьсот лет спустя, по воле скульптора.

Еще одно оскотление, тоже акт оскорбленного благонаравия, был свершен над крылатым ангелом (вернее, полуангелом-полусфинксом, потому что у ангела не бывает половых признаков, а у сфинкса не бывает крыльев), которым украшена могила Оскара Уайльда, место паломничества гомосексуалистов. По слухам, самые отчаянные из мужеложцев умудрялись вскарабкиваться на постамент и совокупляться с каменным чудищем, вследствие чего оно и было подвергнуто кастрации. Впрочем, паломников это не отвратило. Монумент весь испещрен отпечатками напмаженных губ, у подножия сложены груды любовных записок, адресованных Уайльду. Через сто лет после смерти Оскара любят куда более пылко, чем при жизни. Вот и получается, что *plaisirs d'amour* (радости любви — фр.) иногда бывают подолговечней, чем *chagrins d'amour* (горести любви — фр.), которые продолжаются всего лишь *toute la vie* (всю жизнь — фр.), подумал я и прицелился фотокамерой в черного кота, пристроившегося слизнуть помаду с колена бедного сфинкса.

Когда, вернувшись в Москву, напечатал снимок, никакого кота там, разумеется, не было — лишь прозрачная тень на камне.

## Дай мне поцеловать твои уста

Луны не видно в мертвом небе,  
В зеркале черных вод, —

продекламировал Паша Леньков, высунувшись из укрытия и внимательно оглядев Аллею Иностранцев, Погибших За Францию.

Тихо, темно, пусто. Два с половиной часа назад ушел последний посетитель, сорок три минуты назад прошуршала поливалка, десять минут назад прокатил на велосипеде обходчик.

— Кротик, пора, — махнул Леньков напарнику. И снова процитировал из «спонсора», в последнее время образовалась у Паши такая привычка:

Семь звезд мерцают в мертвом небе,  
Семь звезд в ночной воде.

Было время, когда третий этап работы повергал его тонко чувствующую душу в тоску и ужас. За несколько дней до операции Леньков терял аппетит и сон, начинал глотать успокоительные таблетки. Но потом что-то в нем переменялось. Нервная дрожь не ушла, но теперь это был скорее трепет экстаза, своего рода адреналиновая эйфория. Грудь раздувалась, вдыхая ночной кладбищенский воздух (о, ни на что не похожий аромат глухой тайны и нежити!), пульс делался звонким и дерганым, что твое пиццикато, а шаг пружинистым, невесомым. Одна беда: пребывая в этом состоянии, Паша делался невыносимо болтлив. Сам это чувствовал, но не мог с собой справиться.

До 89-го дивизьона добрались за пять минут, двигаясь параллельно Круговой аллее, где раз в полчаса, согласно инструкции, должен был проезжать кто-нибудь из ночной охраны.

Леньков драматическим шепотом читал монолог Саломеи в переводе Бальмонта. Напарник, как обычно, молчал, зорко поглядывая по сторонам.

Один раз из кустов, прямо под ноги, шмыгнула черная кошка, и Паша чуть не заорал, но Крот молниеносным движением дал ему локтем под дых, и вместо крика получился сдавленный всхлип.

Когда Леньков отдышался, были уже на месте.

Сфинкс был похож на огромного хищника, приготовившегося к прыжку. В свете фонаря памятник казался высеченным из льда.

Паша приветствовал чудовище строчками гумилевского перевода:

Сфинкс восхитительный и томный,  
Иди, у ног моих ложись,  
Я буду гладить, точно рысь,  
Твой мех пятнистый, мягкий, темный.

— Давай, — буркнул Крот, кладя на землю чехол с инструментами. Леньков снял рюкзак, стал вытаскивать тент из темно-серой парашютной ткани. В сложенном виде он был немногим больше обувной коробки, в разложенном же представлял собой светонепроницаемое полотно размером три на четыре метра. Леньков помог его растянуть и закрепить, на этом Пашино непосредственное участие в операции, собственно, заканчивалось — с остальным Крот справится сам.

Леньков похлопал монстра по когтистой лапе. Пробормотал:

И я коснусь твоих когтей,  
И я сожму твой хвост проворный.  
Что обвился, как аспид черный,  
Вкруг лапы бархатной твоей.

Думал в это время про лимон. Матка бозка, ЛИМОН! Вот что значит оптимизация производственного цикла. В начале своей некрофорусной карьеры, когда Паша был романтичен и неопытен, он действовал так: 1) разузнал про Артефакт; 2) добыл его; 3) ищешь клиента. Сколько замечательных вещей из-за этого дилетантизма ушло за бесценок! Стыдно вспомнить. Теперь дураков нет. Первый этап: поиск Артефакта; второй — выход на клиента; третий — изъятие; четвертый — сдача Артефакта по заранее обговоренному прайсу.

Плюсы такого алгоритма очевидны. Во-первых, вещь попадает не к перекупщику, а к человеку, которому она действительно нужна. Во-вторых, у клиента есть уверенность, что он получает аутентичный товар, а не подделку. При желании Паша предоставлял особую услугу — личное присутствие на третьем этапе (разумеется, за особую плату и под персональную ответственность заинтересованного лица). Пару раз находились чокнутые, которые не побоялись ни ночного кладбища, ни возможных последствий. Известно ведь, что самая распространенная разновидность страстных коллекционеров — психи с диагнозом.

Бизнес, мозгом и руководителем которого был Паша Леньков, процветал.

А начиналось так.

Девять лет назад, в самый мрачный период буйных девяностых, аспирант Института всемирной литературы окончательно понял, что светилом филологии он не станет — не от дефицита способностей, а потому что скоро загнется от стипендии в шесть у. е. и полной невозможности дополнительного заработка. Соученики один за другим перекалывались в челноков, банковских охранников, продавцов на мелкооптовом рынке, но Паша последовать их примеру не мог: физические данные не позволяли ему таскать мешки и ящики или часами торчать под снегом и дождем у дверей офиса. А еще было обидно. Без малого десятилетие потрачено на обучение профессии — заметьте, горячо любимой профессии. Что ж теперь, все знания в унитаз?

С утра до вечера, сидя в неотапливаемой институтской библиотеке, Паша ломал голову над тем, как соединить свое ремесло, полностью утратившее всякую актуальность, с хорошими деньгами. Где сегодня нужен специалист по истории литературы? Разве что в каких-нибудь зарубежных славистских куцах, но там и своих умников хватает.

Идея пришла в голову, когда аспиранта бросила невеста Мила. Сказала на прощанье: «Достало твое нытье», но Паша-то знал, что на самом деле ее достали паршивая комнатенка в коммунальной квартире и чай, завариваемый по два, а то и по три раза.

В первый момент Леньков хотел выброситься из окна, но не хватило сил отодрать рассохшуюся раму. Во второй момент, когда, всхлипывая, он представлял свои унылые похороны и мрак могилы, у него произошло сатори.

За минувшие с тех пор годы Пашина жизнь радикально переменялась. Теперь он обитал в двухсотметровом лофте с технодизайном на Тверской, ездил на спортивном «альфа-ромео», останавливался в первоклассных гостиницах, а путешествовал исключительно бизнес-классом (мог бы и первым, просто не хотел привлекать к себе лишнего внимания).

Жениться не женился, ибо рано и вообще незачем, но женской лаской обделен не был, причем все Пашины подруги красотой существенно превосходили очкастую Милу, не сумевшую разглядеть в бедном аспиранте потенциал.

Леньков всё еще числился на службе в своем полураспавшемся институте, где по-прежнему ничего не платили, но зато и работы никакой не требовали. Научный статус позволял работать в архивах и профессорских залах библиотек. Лет пять назад Паша защитил диссертацию — с блеском, ему даже предложили переработать текст в научно-популярную книжку, но он благоразумно отказался. Тема была такая: «Текстологический анализ предсмертных волеизъявлений литераторов пушкинской эпохи».

Диссертация написалась сама собой, между делом — в период, когда Леньков работал с питерскими

кладбищами.

Первый этап производственного цикла был самым приятным и совершенно непредосудительным, стопроцентно травоядным. Сидишь себе в хранилище, изучаешь жизнь давно исчезнувших людей. Но мозг настороже, под ложечкой посасывает от предвкушения — особенно, если предмет изучения вдруг обнаружит задатки «спонсора» (этот термин Паша придумал сам и находил его остроумным).

Он любил воображать себя ловцом жемчуга на коралловых рифах. Скользишь в акваланге над прекрасными, плавно покачивающимися джунглями, любишься переливами голубой воды, экзотическими рыбами — но вдруг блеснет перламутром раковина, и заколотится сердце. Метнешься вниз, чуть подрагивающей рукой, в которой зажат нож, откроешь створки. А что если внутри матово блеснет бесценная жемчужина?

Вряд ли жемчуг так добывают на самом деле — это Паша понимал. Разве что какие-нибудь любители-джентльмены, для которых это хобби. Леньков же в своем деле был настоящим профи. И не был джентльменом.

Он называл себя «Некрофорус» — по латинскому наименованию жука-могильщика, славного представителя семейства сильфид, они же «мертвоеды».

Подобно некрофорусу, Паша существовал за счет покойников — и, как уже было сказано, существовал совсем недурно.

Идея, позволившая ему выгодно *обналичить* багаж историко-филологических знаний, которые в условиях зарождающейся рыночной экономики принято считать абсолютно неликвидными, была гениально проста: искать в старых документах и мемуарах (желательно никогда не публиковавшихся) упоминания о ценных предметах, которые клали в гроб перед похоронами. В сентиментальном 19 столетии это было весьма распространено. Удобнее было начать с писателей, потому что на каждого из них в Литературном архиве был заведен отдельный фонд. Впоследствии, освоив и другие архивы, Паша расширил круг потенциальных «спонсоров». Среди «артефактов», прошедших через Леньковские руки, были перстни, медальоны, несколько усыпанных камнями шпаг, алмазные орденские звезды. Иногда попадалось что-нибудь более экзотическое — например, упоминание о связке любовных писем, которую завещал положить в гроб один поэт пушкинского круга. Некрофорус взял пробу грунта на могиле, убедился, что с влажностью всё в порядке. Судя по сохранившемуся описанию похорон, гроб был дубовый, а значит, письма наверняка в приличной сохранности. На страничку с архивным штемпелем Паша капнул раствором кислоты, а ценную информацию, отныне известную одному ему, поместил в свой «каталог». Товар был уникальный, но требующий штучного покупателя, которого еще предстояло найти. За годы жемчужного лова у Ленькова в «каталоге» каких только сокровищ не накопилось.

Но обнаружение Артефакта, как уже было сказано, это лишь начало производственного процесса. Далее требовалось найти клиента. Теперь-то Паша оброс связями, приобрел авторитет у посредников и коллекционеров по всему миру, а в первые годы приходилось ого-го как побегать.

О'кей, вот клиент определен, цена обговорена. Наступает фаза Извлечения, или собственно Операция. И тут без Крота никуда.

Они работали вместе уже четвертый год, но личных, то есть *внеслужебных* отношений не поддерживали — Паша решил, что так будет спокойнее. Звонок по телефону — мол, с такого-то по такое-то предстоит командировка, рейс такой-то. Крот буркнет «угу» и вешает трубку, даже не спросит, куда лететь. Идеальный партнер.

Паша долго такого искал.

В какой-то момент понял, что всякий раз связываться с кладбищенскими ханыгами, которые за ящик водки вскроют могилу и обшарят бранные останки, — лишний риск. Сам Леньков эту работу исполнить не мог: не хватило бы силенки, да и жутко.

Прямо чудо, что никто из случайных помощников его спяну не заложил. С дилетантизмом пора было завязывать. Требовался профессионал — непьющий, неболтливый, с хорошей физической и технической подготовкой.

Тут дело было еще и в том, что Паша созрел для выхода на международную арену. Там и клиент побогаче, и поле деятельности шире. Российские кладбища — депозитарий малонадежный. Слишком много за последние сто лет было войн, революций и периодов разрухи, а, как известно, в эпохи социальных катаклизмов сакральная значимость всевозможных табу (в том числе осквернения могил) девальвируется. Несколько раз случалось, что захоронение, вскрытое с немалыми затратами денег, времени и невозможных нервных клеток, оказывалось давным-давно выпотрошенным — может, еще в Гражданскую войну.

В поисках мастера Леньков несколько месяцев провел на различных современных кладбищах, наблюдая за работой похоронных бригад. И вот на Николо-Архангельском приметил Крота.

Сразу было видно: это не просто профессионал, это настоящий виртуоз. Одно из самых захватывающих

зрелищ на свете — смотреть, как работает Мастер, и не суть важно, чем именно он занимается. Пишет картину, рубит мясо, чистит ботинки — не имеет значения. Когда человек выполняет дело, ради которого родился на свет, он великолепен.

Крот подходил к помеченному колышками участку и некоторое время рассматривал его, слегка двигая кустистыми бровями. Бригада почтительно стояла поодаль, ждала.

Потом чудо-могильщик с грациозной небрежностью взмахивал киркой и делал на грунте несколько засечек. Рабочие брались за инструменты — и земля, даже самая каменистая или промерзшая, будто сама лезла на лопаты.

Бригадир стоял в стороне, покуривал. Его звали, когда нужно было выкорчевать корень или вытащить засевший под землей валун. Тогда старшой спрыгивал в яму, что-то подсекал, где-то подрубал, наваливался на рычаг — и готово. Паша ни разу не видел, чтобы бригадир возился дольше одной минуты.

Особенно понравилось Ленькову то, что земляных дел мастер обходился почти без слов. Хорош был и взгляд — тусклый, словно обращенный внутрь себя. Ясно, что не шустрик. Однако и не дебил — иначе не выбился бы в бригады.

Дальнейшая проверка подтвердила правильность выбора. Непьющий, языков не знает, географии тоже. Ему что Мадрид, что Нью-Йорк, что Париж. Сидит себе в гостинице, смотрит футбол или, если есть, порноканал. Зато ночью, на кладбище, с инструментом в руках — настоящий Паганини.

Такой вот напарник.

Тент из парашютной ткани был нужен, чтобы избежать ненужных осложнений. Если обходчику, в нарушение рутины, вздумается свернуть на Авеню Карет, куда выходит 89-ый дивизьон, он ничего не заметит, даже если протопает в пяти шагах от сфинкса. Крот и Некрофорус роют землю с противоположной стороны, да еще прикрыты тканью — такой же светло-серой, как памятник. Обнаружить их можно, только если приблизиться совсем уж вплотную. Но делать этого Леньков французу ни в коем случае не посоветовал бы. Однажды в Питере, на Волковом, сторожу вздумалось отлить на могиле камергера графа Опраксина, где как раз трудились Паша с Кротом. Увлеченный операцией Паша заметил поддатого кладбищенского аргуса, только когда тот тупо заматерился, глядя на сочащийся из земных недр свет. Леньков тогда растерялся, а Крот нет. Схватил беднягу сторожа за ногу, сдернул в могилу и один-единственный раз приложил чугунным кулачищем в ухо. Потом запихнул бесчувственное тело в крепкий, нисколько не прогнивший гроб, под бочок к его покойному сиятельству и аккуратно засыпал землей. От этого воспоминания у Паши до сих пор начинался нервный тик.

Поползав минуточку-другую вдоль постамента, Крот достал из чемоданчика бур. Быстро сделал шурф вплотную к камню, посветил фонариком, кивнул. Под тентом было душновато, налипшая на сверло глина влажно посверкивала.

— Конечно, его произведения справедливо критикуют за позерство и любовь к дешевой эффектности, — стрекотал Паша, наблюдая, как специалист тихо жужжащей циркулягжой прорезает в земле прямоугольник. — Но какое волшебное сочетание звуков! Какие образы! Вот тебе четверостишие, из которого произрос весь Блок и добрая половина нашего Серебряного Века.

Стоит там женщина.  
Бледна,  
Пылают губы, словно пламень,  
А сердце холодно, как камень.  
Под фонарем стоит она.

Напарник вытер пыль с лица, сплюнул.

— Согласен, — развел руками Некрофорус. — Мой перевод хромает. В оригинале гораздо звучнее:

But one pale woman all alone.  
The daylight kissing her wan hair,  
Loitered beneath the gas lamps' flair,  
With lips of flame and heart of stone.

Крот ловко подцепил целый пласт дерна и отложил в сторону. Когда закончит — поместит обратно, разровняет, и будет незаметно, что в могиле кто-то копался.

Теперь специалист заработал ухватистой титановой лопатой. Быстро, буквально на глазах, ушел в землю сначала по пояс, затем по плечи. Настоящий крот, подумал Леньков. Пашино дело сейчас было простое — утрамбовывать пирамиду выкопанного грунта, чтобы куча не разрасталась.

Вот донесся характерный скрип металла о камень — значит, Крот уже дорылся до основания и

устанавливает домкраты, чтобы саркофаг не просел. С начала операции прошло меньше получаса.

Крот дернул Пашу за ногу. Это значило: пора.

Сглотнув, Ленков полез в черный квадрат. Сердце колотилось где-то в области горла, но ощущение было приятным — будто летишь с крутого спуска на санках.

Очувтившись в тесном склепе, плечом к плечу с Кротом, Некрофорус втянул воздух столетней давности. Луч фонаря скользил по крышке гроба. Под сантиметровым слоем пыли (и откуда она только здесь берется?) вяло поблескивала лаковая поверхность.

— Бронзовые, — уважительно сказал Крот, потрогав пальцем фигурные болты по углам. — Супер.

И, не теряя времени, включил электроотвертку.

Зззик, ззик, — нудно запищала она, и болт проворно вылез из паза. Время от времени Крот останавливался, чтобы подлить масла, и снова раздавалось: зззик, зззик. Паша страдальчески зажимал уши — это напоминало ему звук бормашины.

— Угу, — махнул Крот.

Взяли крышку в четыре руки, осторожно отставили.

На всякий случай Паша нацепил пропитанный лавандой респиратор. Из старых могил, бывает, таким амбре шибанет, что всё рабочее место облюешь. Кроту-то ничего, он ко всякому привык.

Но при виде мертвеца даже напарника, мастера могильных дел, затрясло.

Оскар Уайлд лежал в гробу совершенно целый, нисколько не тронутый тлением. Черный сюртук расползся, уголки воротничка почернели, но широкий лоб мертвеца был чистым и белым, а на полных, несколько обвисших щеках даже розовел румянец.

Паша-то был к этому готов и довольно хихикнул — в кои-то веки нервы у него оказались крепче, чем у помощника:

Прекрасен рыцарь, что, сраженный.  
Упал меж тростников,  
И рой рыбешек возбужденный  
Уж к пиршеству готов.

— Это про нас с тобой. Мы ведь готовы к пиршеству, а, Кротик?

— Чего это он? Чисто Ленин в мавзолее, — произнес специалист небывало длинную для него реплику.

— Необъяснимый феномен, зарегистрированный еще в 1909 году, когда останки переносили сюда с кладбища Баньо. Думали, остался один скелет, а классик всех удивил. Оказался нетленным, будто святой угодник. При этом умирал-то некрасиво. Когда испустил последний вздох, изо всех дырок полилось, даже из ушей. Очень неэстетично умер, для эстета. Может, потому и не прогнул, что вся дрянь сама собой вытекла? Ну, а что белый-румяный, это любовничек постарался, Бобби Росс. Подгримировал. Перезахоронением он командовал. Кстати, Бобби должен быть где-то рядом, его похоронили здесь же.

Паша посветил вокруг — и точно: в луче вспыхнул крутой бок амфоры, стоявшей у изголовья гроба.

— Золотая? — потянулся к ней Крот.

И паж, прелестный и нарядный,  
Поблизости лежит.  
Чернее ночи ворон жадный  
Над ним кружит, кружит, —

пробормотал Паша, размышляя, не прихватить ли и урну с прахом Росса. Да ну ее. Кому теперь интересен какой-то Бобби Росс? Только лишняя тяжесть.

— Туфта, — разочарованно протянул Крот, взвешивая амфору. — Латунь.

А про Оскара Уайлда сказал:

— Артист Золотухин.

В самом деле похож, удивился Ленков, с любопытством разглядывая «спонсора». Одно лицо.

— Освободи руку. Левую, — велел Некрофорус, волнуясь всё сильнее — но теперь уже не от впечатлительности, а по серьезному поводу. Операция приблизилась к критической точке, подошла вплотную к моменту истины.

Полгода назад, работая в лондонском архиве, Паша наткнулся на письмо одного из тех пятнадцати человек, кто 3 декабря 1900 года провожал в последний путь тело опозоренного изгоя. Фигура Оскара Уайлда давно интересовала Пашу — он уже не первый месяц описывал над бедным гомиком круги, как тот черный ворон из баллады.

Персонаж культовый, последователей масса, любая оставшаяся от классика реликвия продается за

большие деньги, счет идет на десятки тысяч фунтов. И это обычные безделушки, а между тем, как явствовало из мемуаров, любитель зеленых гвоздик носил на мизинцах два уникальных кольца с крупными изумрудами. Он верил, что одно из них (с правой руки) приносит ему удачу, а второе (с левой) — несчастья. Поскольку без горя не бывает радости, Уайлд никогда не расставался с обоими перстнями. Разумеется, пока сидел в каторжной тюрьме, пришлось обходиться без талисманов, но, едва вышел на свободу, нацепил их опять. Многие мемуаристы с удивлением отмечают, что изгнанник не продал и не заложил свои изумруды, даже когда остался без гроша. Сидел в уличных кафе, потягивал абсент и ждал, пока мимо пройдет кто-нибудь из многочисленных парижских знакомых, чтоб заплатить за него по счету. Иногда ожидание затягивалось. Фредерик Бутэ вспоминает, как видел Уайлда в кафе на бульваре Сен-Жермен под проливным дождем. Писатель сидел в полном одиночестве, вымокший насквозь, в обвисшей шляпе, но всё равно царственный: массивным подбородком он опирался на набалдашник трости, на пухлых мизинцах посверкивали изумрудные скарабеи, а жест, которым Уайлд подозвал знакомого, был исполнен изящества и величия.

Куда подевались перстни потом — вот что занимало Некрофоруса. В музеях их не было, на аукционах ни разу не всплывали. Уж не лежат ли они в гробу на кладбище Пер-Лашез?

Письмо некоего Сибилла Хэмптона, пришедшего на похороны скандально знаменитого писателя из любопытства, блестяще подтвердило эту гипотезу — во всяком случае, наполовину.

Из опубликованных записок других участников траурной церемонии известно, что подле вырытой могилы произошел неприятный инцидент — неприятный до такой степени, что эти благовоспитанные господа, будто сговорившись, предпочли его не описывать. По их туманным свидетельствам можно лишь понять, что ненавидимый всеми лорд Альфред Дуглас, *hommefatal* (роковой мужчина — фр.) погубивший бедного Оскара, устроил какую-то безобразную сцену.

Один лишь мистер Хэмптон, не связанный с покойником никакими узами, с упоением сплетничает о случившемся в письме своей лондонской приятельнице. Потирая рукой пылающий лоб, Паша читал: «...*О том, что случилось далее, я могу поведать только Вам, ибо знаю, мой милый друг, что Вы с Вашим тактом сумеете сохранить этот неаппетитный эпизод в тайне — таков уговор, заключенный дамами и джентльменами, присутствовавшими на похоронах, что вполне разумно, ест учесть нездоровый интерес, проявляемый определенной частью прессы ко всему, что связано с именем злополучного мистера Vailida. Итак, как я уже писал, «богоподобный Бози» (говорят, именно так покойник называл своего эфеба) появился на кладбище с опозданием. Это не помешало ему разразиться громогласными рыданиями. Меня чуть не стошнило, когда сей вульгарный господин (и это сын маркиза Квинсберри!) спрыгнул в яму и стал орать, чтобы его закопали вместе с «обожасмой Саломеей». В конце концов, разумеется, вылез, но не ранее, чем облобызал мертвеца в губы — как выражается мой лакей Тоби, «взасос». К этому времени все присутствующие исполнились столь глубокого отвращения к молодому фигляру, что никто даже не возразил, когда он сдернул с правой руки покойного изумрудный перстень и торжественно водрузив его себе на палец, воскликнув: «Теперь мы с тобой навек обручены!»...»*

С правой — это, стало быть, Кольцо Счастья, лихорадочно соображал Леньков. У лорда Альфреда губа была не дура. Только удачи ему перстень все равно не принес. Бози быстро спустил наследство, доставшееся от папеньки, и умер в бедности.

В описи скудного имущества, оставшегося от этого Дориана Грея, никакого изумрудного перстня Некрофорус не обнаружил. Наверняка попало в какой-нибудь ломбард, а оттуда кануло в безвестность.

Выводы получались прямо-таки головокружительные.

Во-первых, второе кольцо почти наверняка до сих пор находится в могиле на Пер-Лашез. Трудно предположить, чтобы добропорядочный Бобби Росс, руководивший перезахоронением, взял его на память, последовав примеру ненавистного Бози.

А во-вторых, налицо была уникальнейшая ситуация, о которой коллекционеры незаконно добытых реликвий могут только мечтать. Обычно они вынуждены хранить свои сокровища в тайне от всех. Такую вещь нельзя перепродать, нельзя официально завещать, да и показывать-то можно разве что какому-нибудь близкому человечку. А тут всё по-другому. Клиент покупает у Паши перстень из гроба, а всем объявляет, что разыскал изумруд, доставшийся Дугласу. Гениально! Двойной, нет, тройной прайс гарантирован!

Несколько месяцев Леньков потратил на поиск правильного клиента и в конце концов вышел на мистера Ринальди из Лос-Анджелеса, владельца сети гей-отелей и трансвестит-клубов. Тот аж затрясся, когда узнал, какой товар ему предлагают. Теперь Паша раскаивался, что запросил всего лимон. Вполне вероятно, что старый педрила дал бы и больше. Как миленький, примчался в Париж. Сидит в своем «Крийоне», ждет, роняет слюни. Вот что надо сделать, пришла Паше в голову светлая мысль. Прикинуться, будто разговор шел не про баксы, а про евро. А что такого? Франция — территория евровалюты, всё нормально. Или скакнуть на фунты стерлингов? «Спонсор» ведь англичанин.

— Дай. Я сам, — отрывисто прошептал Некрофорус, отпихивая Крота.

Есть! Ей-богу есть!

Пухлые руки мертвеца были сложены не на груди, а почему-то внизу живота, словно у футболиста во время штрафного удара, и на левой ярко вспыхнула зеленая искра. Как огонек такси, подумал Паша, которого что-то повело на метафоры.

— Живем, Кротик, живем! — взвизгнул он. — Кусачки давай! — А к Уайлду обратился по-английски. — Nor shall I take aught from thee but that little ring that thou wearest on the finger of thy hand. (Я возьму у тебя лишь маленький перстень, что ты носишь на пальце. — англ.)

Но резать сустав не пришлось. Перстень с поразительной легкостью соскочил с мумифицировавшегося пальца.

И вот Леньков уже светил фонариком на изумрудного скарабея, в спинке которого были вырезаны какие-то знаки — кажется, каббалистические.

Надел кольцо себе на безымянный. Оно было малость великовато, и он сжал кисть.

— Нюхал? — засмеялся Паша и сунул под нос напарнику свой чахлый кулак. — Лимон зеленый, семейство цитрусовых.

Про то, что лимон теперь будет не зеленый, а британский, Кроту знать необязательно. В «Крийон» на встречу с мистером Ринальди он не пойдет. Ни имени клиента, ни названия гостиницы могильному специалисту Паша не сообщил, да тот и не интересовался.

В порыве эйфорической легкомысленности Некрофорус любовно похлопал покойника по накрашенной щеке.

И шарахнулся — так, что приложился затылком о каменную плиту.

— Ты чё?

— Нет, ничего... — пролепетал Леньков. — Уходим. Ему показалось, что щека теплая. И упругая.

К себе в «Гранд-отель» он вернулся в половине четвертого. Позвонить мистеру Ринальди обещался в восемь, так что была возможность немного поспать после удачной, но нервной ночи.

Лежа в кровати, Некрофорус рассматривал зеленого скарабея и понемногу успокаивался. Должно быть, пример положил на лицо мертвеца толстенный слой косметики. За столетие она спрессовалась, обрела смолообразность, вот и пружинит. А нагрелась от электрического луча. Никакой мистики.

И на душе у триумфатора сделалось хорошо. Сладостно зевнув, он оглядел лепной потолок. Вообще-то каморка каморкой, из разряда «бедненько, но чистенько». А стоит, зараза, тысячу баксов. Ничего не поделаешь — если хочешь иметь приличный гонорар, надо уметь себя подать. Мистер Ринальди вчера на Пашино небрежное: «Встретимся у меня в «Гранд-отеле», в фойе» ответил уважительным «wow!». В мягчайших креслах, под арманьяк и сигарку, договорились по финансовым условиям изящно, без торговли.

Паша поставил будильник на полвосьмого, раскрыл томик с уайлдовскими пьесами — на первой попавшейся странице. Прочел:

«Паж Иродиады: Поглядите на луну. У луны очень странный вид. Можно подумать, что это женщина, которая поднимается из могилы. Она похожа на мертвую женщину. Можно подумать, что она ищет мертвых.

Молодой сириец: Очень странный у нее вид. Она похожа на маленькую принцессу! под желтым покрывалом, с серебряными ножками. Она похожа на принцессу, у которой ножки словно два белых голубя... Можно подумать, что она танцует.

Паж Иродиады: Она словно женщина, которая умерла. Она движется очень медленно. Как медленные ее движения».

Взглянул в окно. Там светила луна, но саму ее было не видно.

Некрофорус отложил книгу. Уснул.

Ему приснилась полная, грациозная женщина в прозрачных шелках, исполняющая странный танец. Она то воздевала к небу голые руки, то склонялась к земле, то вдруг начинала бешено и страстно трясти бедрами.

Играла музыка — какая-то двусмысленная. Вроде бы наполненная любовным томлением, а в то же время страшноватая. И очень-очень знакомая, только Паша всё не мог узнать мелодию.

Потом танцовщица повернулась к Ленькову спиной, опустилась на колени и подняла что-то с пола. Изогнувшись всем телом, показала ему серебряное блюдо, на котором лежала отрубленная косматая голова. Паша постарался ее особо не рассматривать.

Нормальная декадентщина, сказал он себе бодрясь. Образ навеян знаменитой фотографией, где пидер Оскар изображает танцующую Саломею. Вместо головы муляж.

Тут пошел крупный план, как в кино, и гипотеза подтвердилась. Некрофорус увидел перед собой румяное лицо классика с капризно отвисшей губой. Распозналась и мелодия. Оскар Уайлд пропел голосом артиста Золотухина: «У меня жена-а, й-эх, красавица. Ждет меня-а домо-о-о-ой, ждет, печалится». И,

опустив длинные накрашенные ресницы, зашептал — какую-то цитатную мешанину из Кольриджа, «Саломеи» и еще черт знает откуда:

— She had dreams all yesternight of her own betrothed knight (И грезила всю ночь о нем, о милом рыцаре своем — англ.)... Принял ты любви залог, нас венчал Двурогий Бог... Это в твои уста я влюблена. Твои уста словно алая лента. Они словно гранат, рассеченный ножом из слоновой кости. Позволь мне поцеловать твои уста. Они словно киноварь, что моабиты добывают в копиях Моава. Они словно лук персидского царя, украшенный киноварью, а на концах у него — кораллы. Дай!

— Еще чего, — буркнул Паша, отстраняясь.

Он не то чтобы сильно испугался, но сделалось неприятно.

— А как же перстень, нас венчавший? — снова перешло на стихи видение. — И то касание щеки? Обет, безмолвно прозвучавший у снятой гробовой доски? Мы не расстанемся с тобой. Дай мне поцеловать твои уста!

Сон был такой несуразный, что Ленков его дальше и смотреть не стал. Перевернулся на другой бок, обхватил покрепче подушку и до самого будильника спал уже безо всяких сновидений.

Сидя у телефонного аппарата, Некрофорус разглядывал Артефакт, вертел рукой то так, то этак, но в пасмурном свете раннего утра изумруд сверкать не желал. Оставалось еще полминуты. Паша собирался позвонить ровно в восемь, потому что пунктуальность — признак профессионализма.

Но вот длинная стрелка «брегета» коснулась верхней точки циферблата. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, — быстро натыкал Ленков десять цифр, поглядывая на карточку (там было написано: «Joe Rinaldi, Crillon» и телефон гостиницы с номером комнаты). Рассеянно потянул с пальца перстень — и вздрогнул.

Ночью скарабей свободно вертелся вокруг сустава, а теперь засел намертво. Рука что ли опухла?

— That's you? — раздался в трубке жирный голос клиента. — Did it... did it go well? (Это вы? Ну как... получилось? — англ.)

— Perfect. Just perfect (Идеально. Просто идеально — англ.), — ответил Паша, лихорадочно дергая кольцо.

Проклятье! Оно и не думало слезать. При этом никакого отека на безымянном пальце не наблюдалось.

— Have you got it? I mean, the... thing. You've got it? (Он у вас? Ну... этот предмет? Он у вас? — англ.)

Клиент не мог скрыть возбуждения, и это было замечательно. Переход с зеленого лимона на англосаксонский был гарантирован, но как снять этого чертова жука? Вот идиотизм.

— Мыло! — воскликнул Паша.

— Pardon?

— Sure, I've got it. It's right here, on my finger. Oh, you wouldn't believe how very, very special it feels (Конечно, у меня. Вот он, на пальце. О, вы не представляете, какое это ощущение, совершенно особенное. — англ.), ворковал Ленков, двигаясь в направлении санузла. Включил воду, намазал палец мылом — и шепотом выругался. — Shit!

Перстень не сдвинулся ни на миллиметр. У Паши на лбу выступила холодная испарина. Shit! Shit! Shit!

Мистер Ринальди что-то спрашивал, не мог уразуметь, в чем дело, а запаниковавший Некрофорус пытался оценить масштабы проблемы.

— Sorry. Cannot speak now. I'll get back to you (Извините. Сейчас не могу разговаривать. Я перезвоню — англ.), оборвал он кудахтанье американца и отсоединился.

Быстро набрал номер мотеля, где ночевал напарник.

— Тут заморочка, — объяснил Паша на понятном Кроту языке. — Маленькая, но реальная. Нужны твои золотые руки. Мигом сюда!

Но и золотые руки напарника не помогли. Протерзав Пашин палец минут десять, Крот объявил:

— Тухляк. Резать надо.

Некрофорус в ужасе спрятал руку за спину.

— Ты чего?!

Зазвонил телефон — наверное, уже раз в пятый. Это нервничал в своем «Крийоне» клиент. Трубку Ленков не снимал.

— Это ты чего. Лимон баксов!

— Да как я в больницу пойду? Что буду объяснять? Такое кольцо приметное! Весь персонал соберется, звону будет!

— На хрена в больницу? — удивился Крот. — Чикну ножиком, и готово. Сунешь в пакет со льдом.

Паша вспомнил тарантиновский фильм «Четыре комнаты», всегда казавшийся ему ужасно смешным, и затрясся от страха.

— Разве тут в пальце дело? Это знаешь, какое кольцо? Залог любви, понял? — заорал Некрофорус, которому вдруг вспомнился сон. — Не отпустит он меня!

— Кто?

— Румяный!

— Не гони. — Крот уже доставал из кармана складной нож. — Одеколон есть? Прижечь. После пришьешь обратно. Фигня, Паш. У нас один мужик тоже топором себе...

Леньков аж завизжал:

— «После пришьешь!» Это ты меня пришьешь, козел!

Сдохну, точно сдохну, стучало у него в голове. От болевого шока, или кровь не свернется, или еще от чего-нибудь. Сто процентов. Пальцем тут не отделаешься. Румяный сказал: «Мы не расстанемся с тобой».

— Кротик, — жалобно сказал Леньков. — Давай объясним всё клиенту, а? Попрошу отсрочки. Чтоб не гноился, дам скидку. Процентом десять, а?

Прокаливая лезвие огнем зажигалки, Крот спокойно сказал:

— Сто штук баксов? Будешь дурить, чикну в сердце. А потом сниму перстак без одеколona. За сто штук — легко.

— Хорошо, — слабым голосом произнес Паша. — Я только в баре льду возьму. И вина глотну для храбрости, ладно?

Он вынул из холодильника коллекционный «Дом Периньон» 1983 года. Заранее приготовил — добычу обмывать.

Хлопнул пробкой, отпил прямо из горлышка. Поперхнулся.

— Давай, режь.

Когда же Крот склонился над пальцем, со всей силы стукнул его увесистой бутылкой по макушке. Партнер без звука рухнул лицом на ковер, а Паша подхватил пиджак и кинулся вон из номера.

Часа два просто метался по Парижу, плохо соображая, куда и зачем идет таким быстрым шагом. Город Паша знал плоховато и довольно скоро утратил всякое представление о том, где находится. Да это было и неважно.

В голове прыгал и бился панический вопрос: «Что делать? Что делать?» — и ответа на него не существовало.

С Кротом, конечно, вышла труба, но это-то еще полбеды. Башка у могильщика крепкая, бутылкой такую не проломишь. Полежит, очухается, встанет. Деловому партнерству, само собой, конец. Но мести кладбищенского головореза можно не опасаться. Достаточно поменять билет на обратный рейс, и Крот Некрофоруса никогда больше не увидит. У него даже нет Пашиного телефона. Так что пугал Ленькова не Крот.

В тоскливый ужас вгоняла полоска желтого металла, от которой ледяными волнами по всему телу шли пульсирующие сигналы. Было такое ощущение, что за утро кольцо сжалось еще плотней. Паша со страхом посмотрел на плененный палец и увидел, что тот распух, сделался багровым.

Леньков и не пытался найти этому явлению какое-нибудь научное объяснение. Во-первых, всякий человек, профессионально занимающийся литературой, знает, что в мире полно чертовщины. А во-вторых, слишком уж недвусмысленен был ночной сон.

Когда, в очередной раз свернув за угол, Некрофорус увидел перед собой ограду кладбища Пер-Лашез, он несколько не удивился, скорее испытал облегчение. Судя по всему, шефство над отчаявшимся кандидатом наук взяла какая-то неведомая сила, приведшая его именно туда, куда следовало.

Нервной трусцой, задыхаясь, Паша пересек некрополь и оказался у 89-го участка.

Могилу Оскара Уайлда было видно издали — около нее толпились туристы. Одни щелкали фотокамерами, другие стояли, уткнувшись носом в путеводители, а двое гомосексов в одинаковых гавайских рубашечках, опустили на колени и самозабвенно целовали памятник. Время от времени они подмазывали губы ярко-алой помадой и вновь принимались чмокать грязно-белый камень.

Паша сосредоточенно смотрел на красные колечки, которыми был испещрен постамент, и всё дергал себя за кольцо. Почему-то он был уверен, что ответ придет сам собой.

Он сделал шаг вперед, поближе к Сфинксу, и вдруг почувствовал, что перстень чуть-чуть прокручивается. Снять его все равно было невозможно, но давление явно ослабло.

— Scusi, — протиснулся мимо Некрофоруса один из целовальщиков — ему нужно было чмокнуть сфинкса в ступню.

Пришлось отступить назад — и в ту же секунду кольцо опять сжалось, определенно сжалось!

Тут-то Леньков наконец и понял, что нужно делать.

Какие понадобятся инструменты, Паша знал — слава Богу, не один год проработал бок о бок со специалистом. В слесарном магазине купил портативную циркулярку «Лазарро», которой можно резать даже камень, еще взял два специальных домкрата, титановую лопатку, электроотвертку. Тента, конечно, не нашел, но вместо него взял суперлегкую палатку фирмы «Рейнфорест» — такая прикроет не хуже, опять же оснащена колышками, которые удобно вбивать в землю.

Получилась довольно объемная и тяжелая сумка. Некрофорус даже боялся, что его могут не пропустить с ней на территорию кладбища, но, на его счастье, у ворот никто не дежурил, а дальше Леньков продвигался глухими, обходными аллеями.

С пяти часов засел в кустах на 19-м участке, куда почти не забредали посетители. Потом обнаружил неподалеку незапертый склеп какого-то нотариуса, современника генерала Буланже. Переместился туда.

Разложил на пыльном каменном полу палатку, прилег. Миллиона было не жалко. Хотелось только одного — чтобы этот кошмар поскорее закончился. Паша дал себе слово: если избавится от проклятого перстня, по могилам больше лазить не будет. Никогда.

В половине одиннадцатого решил, что пора. Взвалил на плечо сумку. Пошел.

Ночное кладбище было похоже на заколдованный лес. Над черными крестами и угрюмыми шпильями разливался мертвый свет фонарей, где-то наверху поухивала ночная птица, а внизу, в траве, шебуршилась какая-то своя жизнь — пару раз Паша видел мерцающие зеленые огоньки. То ли кошки, то ли, наоборот, крысы. Но страху за последние сутки Леньков натерпелся такого, что пустяками его было уже не напугать.

Вот и распяты на могиле семейства Папёй. Рядом — белый куб Уайлдовой гробницы.

Стараясь ни о чем не думать и поменьше смотреть по сторонам, Паша взялся за работу. Получалось у него, конечно, хуже и медленней, чем у Крота, но все же часа за полтора он дорылся до основания и кое-как установил домкраты. Рыть было легче, чем он ожидал — видимо, помогло то, что Крот вчера уже разрыхлил почву.

Протиснулся внутрь саркофага — еле-еле. Поразительно, как это они вчера разместились в этом узком пространстве вдвоем.

Каждую минуту Паша останавливался и пробовал снять кольцо. Оно не слезало, но давить перестало и довольно свободно елозило по суставу. Леньков был явно на правильном пути.

Ззик, ззик, — зажужжала отвертка, выкручивая бронзовые болты. Смазанные накануне, они легко вышли из пазов.

Некрофорус с кряхтением снял тяжелую крышку и крепко зажмурился, прежде чем посмотреть на мертвеца.

А что если вообще на него не смотреть?

Не открывая глаз, Леньков дернул перстень — и тот слез, причем легко, без малейшего сопротивления. Невозможно было поверить, что Паша столько с ним промучился!

Бросить в гроб — и дело с концом, подумал он. Можно даже крышку не закрывать, кто тут увидит?

Нет, лучше надеть туда, откуда снял, подсказал внутренний голос. Спокойней спать будешь.

И Паша чуть-чуть приоткрыл веки.

Уайлд лежал в гробу совершенно такой же, как прошлой ночью. Только показалось, что в уголках полных красных губ таится мягкая усмешка.

Дрожащей рукой Некрофорус протянул кольцо покойнику, словно ждал, что тот ответит встречным жестом.

Нет, покойник не шевельнулся. Но за спиной у Ленькова прозвучал тихий смешок.

— Два часа подрючился, руки-крюки. Однако влез-таки. Дай перстак-то.

Тяжелая рука взяла Пашу за плечо, рывком развернула.

В щели лаза темнела коренастая фигура Крота. Лица его было не видно, только влажно блеснули оскаленные зубы.

Оцепеневший Паша безропотно протянул кольцо.

— Ты ляжь тут. Поспи, — сказал бывший напарник и толкнул Некрофоруса в грудь — вроде несильно, но тот с размаху сел в гроб, прямо на колени мертвецу, и взвизгнул.

— Не сядь, а ляжь.

Крот схватил Пашу за шиворот, приподнял и плюхнул прямо на Уайлда.

— Лежать!

— Кротик... Ну всё... попугал уже... Ты прости, что я тебя бутылкой... — залепетал Некрофорус, умоляюще хватая Крота за руки. — Я тебе за это долю подниму... Всё равно без меня не получится. Ты и клиента-то не знаешь.

Напарник легко поднял крышку, подержал на весу.

— Почему не знаю? Мистер Ринальди. На карточке написано. Я ему уж звякнул. Нормальный мужик, договорились.

— Да как ты мог с ним договориться, без английского?

— Don't worry, be happy, — сказал Крот с жутким акцентом, и крышка с грохотом хлопнулась.

Паша забился, уперся в нее руками, но не сумел сдвинуть ни на сантиметр — должно быть, Крот уселся сверху.

Ззик, ззик, — донеслось снизу, справа. Потом слева. И еще два раза сверху.

— Кро-о-о-тик! — забыл Паша и чуть не оглох от эха.

Откуда-то издалека раздался скрип металла о камень. Снимает домкраты, догадался Ленюков и перестал кричать, потому что перехватило горло.

— Ты не захотел позволить мне поцеловать твои уста, — слышался тихий шепот — совсем близко, в самое ухо. — Ну хорошо. Я поцелую их теперь. Я укушу их своими губами, как кусают твердый плод. Да, я поцелую твои уста.

## Иностранное кладбище в Иокогаме Росё Фудзё, или Внезапная смерть

Я давно знал, что кладбище это непростое. Когда-то, еще студентом, случайно забрел сюда и сразу почувствовал: если к этому месту как следует приглядеться, увидишь нечто особенное. Четверть века спустя приехал специально — чтобы разобраться. Не спеша, с толком, ходил по выщербленным лестницам и мшистым дорожкам, прислушался к тишине, к себе — и в самом деле кое-что увидел, но совсем не то, чего ожидал.

Тогда, много лет назад, кладбище показалось мне загадочным, романтичным. Оно никак не было связано с окружающим пейзажем; оно существовало само по себе, в собственном времени, собственном измерении: *не-город* посреди мегаполиса, девятнадцатый век на исходе двадцатого, кусочек Европы в центре Японии.

Согласно моему предварительному плану, кладбище должно было стать иллюстрацией к главе «Смерть на чужбине».

Представьте себе небольшой холм на дальнем краю света; дальше к востоку лишь Великий Океан, противоположного берега девять тысяч километров. То есть, для японцев-то, конечно, здесь никакой не конец земли, а, напротив, самая ее середина, но среди мертвецов, что лежат в этих могилах, местных уроженцев почти нет. На Гайдзин-боти (что означает «Иностранное кладбище») похоронены чужаки. Они думали, что отправляются в далекую, полумифическую страну за деньгами, или славой, или новыми впечатлениями, а на самом деле приехали в Иокогаму, чтобы умереть. Некоторые Японии и вовсе не увидели — прибыли в порт уже покойниками, скончавшись в плавании. Прямо с борта корабля их перевезли на Гайдзин-боти. Что за причудливый путь на погост, думал я, читая полустертую надпись на камне: покинуть свой Портсмут только для того, чтобы улечься в японскую землю.

Но истинная суть этого некрополя, кажется, заключалась не в безотрадном одиночестве человека, умирающего вдали от дома. Тут было что-то иное. Я это чувствовал, но ухватил не сразу. Гайдзин-боти открывалось мне постепенно.

Поначалу сбивало то, что здесь на одной территории расположены два кладбища, причем не разделенные стеной, как на Новодевичьем или Донском, а наслонившиеся одно на другое. Когда я это понял, дело пошло быстрее.

Я научился отличать *мои* могилы от обычных, это оказалось нетрудно: старое кладбище, ради которого я приехал, прекратило свое существование восемьдесят лет назад, 1 сентября 1923 года; новое, возникшее после этой даты, ничего интересного собою не представляло и никакого *мессиджа* в себе не содержало, во всяком случае для меня<sup>2</sup>.

С датой всё тоже было ясно. 1 сентября 1923 года в Японии случилось страшное землетрясение, эпицентр которого находился как раз неподалеку от Иокогамы. Погибло больше 100 тысяч человек, от города остались одни головешки. Пострадало и кладбище: многие надгробия раскололись или упали, сгорела вся документация, так что впоследствии многие старые могилы остались неидентифицированными. Гайдзин-боти пришлось обустроить и организовывать заново — в результате образовалось более или менее стандартное ритуально-погребальное учреждение, каких на свете сколько угодно.

Получалось, что *моё* Иностранное кладбище захоронено внутри обновленного Гайдзин-боти; годы его жизни 1861–1923, не длиннее среднего человеческого века. За это время здесь закопали примерно две с половиной тысячи мертвецов. Они говорили на разных языках: английском, французском, немецком, русском, голландском, испанском, и еще двух десятках наречий. Среди них были моряки и миссионеры, солдаты и инженеры, промышленники и беглецы от правосудия. Объединяет всю эту разношерстную компанию только одно — никто из них не собирался обрести вечный покой в японской земле. Кто же ради

---

<sup>2</sup> Должен пояснить, что я отношусь к породе людей, которые выискивают в любых событиях, явлениях и даже ландшафтах некие персональные послания, которые нужно расшифровывать и складывать в копилку для дальнейшего изучения. Я отдаю себе отчет в некоторой шизофреничности этой игры, но, во-первых, она утешительна для самомнения (если Кто то или Что то адресует тебе знаки, значит ты, черт подери, что то собою представляешь); во-вторых, так интересней живется, а в-третьих, эти мессиджи и вправду существуют, надо лишь уметь их распознавать.

этого отправился бы в многонедельное плавание? Эти люди ехали сюда на время, пребывание в Японии для каждого из них должно было стать не более чем этапом в активной, непоседливой жизни.

На Гайдзин-боти похоронены те, кто споткнулся на бегу, это кладбище неосуществленных планов, наглядное пособие к японской поговорке «*росё-фудзё*». Лаконичная максима, состоящая из четырех иероглифов, переводится довольно длинно: «Никому не дано знать, в каком возрасте ему суждено умереть». Или, если угодно, «человек предполагает, а Бог располагает», но только без оттенка христианской смиренности.

Большинство обитателей старого Гайдзин-боти умерли в расцвете жизни, не завершив начатого дела. Сегодня помнят лишь тех из них, кто успел принести Японии хоть сколько-то пользы — японцы знают, что такое благодарность. Не забыт молодой инженер Э. Моррел (ум. 1871), приехавший строить первую железную дорогу, но не доживший до ее открытия; его памятник имеет форму проездного билета. Раннюю фотокамеру напоминает квадратное надгробье первого учителя фотографического искусства О. Фримэна (ум. 1866). Могила одного из устроителей японского телеграфа Ф. Фиска (ум. 1875) похожа на аппарат Бодо. Под маленьким каменным казематом покоится германский специалист по тюрьмам Г. фон Зебах (ум. 1891), только решетки не хватает — хотя сто лет назад, наверное, была и железная ограда.

Чем дальше бродил я по Гайдзин-боти, тем неуютней мне делалось. Какая там романтика — по коже то и дело пробегали мурашки. Вероятно, дело в том, что здесь так много людей, застигнутых смертью неожиданно, *неготовых умереть*, думал я. Ничто не потрясает нас сильнее, чем внезапная смерть, главный ужас человеческого существования. Западный человек, дитя оптимистической цивилизации, живет на свете, делая вид, что смерти нет, а если и есть, то очень нескоро. Японская же традиция призывает пребывать в постоянной готовности к неожиданному концу. Одно из известнейших самурайских изречений гласит: просыпаясь утром, будь готов к смерти. Не потому что так импозантней, а потому что это обостряет ощущения и пробуждает разум; главное же — очень уж страшно умирать *врасплох*. Думаю, что эта экзистенциальная установка многим японцам придает на последнем пороге мужества.

Так вот что такое Гайдзин-боти: захоронение дилетантов смерти в стране, где мастерски умеют умирать.

Японские кладбища и выглядят совсем иначе, чем это. Они деловиты и скучны. Самое сильное впечатление там производят сектора, принадлежащие большим фирмам. Земля на хорошем кладбище стоит очень дорого, поэтому перспектива получить место на корпоративном участке считается существенным плюсом при заключении трудового контракта. Кто честно отработал положенный срок в компании, может рассчитывать на свои два кубометра почвы. Это наполеоновские гренадеры служили вместе, а спят вечным сном кто где, японские же клерки как сидели в одном зале стол к столу, так рядышком и укладываются: гендиректор, замы, начальники отделов, рядовой персонал. По своей обезличенности, усредненности японские кладбища поразительно похожи на бетонные меганекрополи советской эпохи — та же несентиментальность, та же десакрализация смерти.

А на Иностранном кладбище смерть мистична и непостижима, *потому что это Внезапная Смерть*, которую нельзя предугадать, к которой невозможно подготовиться. Здесь ее зона, ее заповедник, и когда начинаешь это чувствовать, делается по-настоящему страшно. В низинной части Гайдзин-боти всегда сумрачно и тихо. Над головой смыкаются ветви деревьев, звуки города почти не слышны, вокруг ни души. Всякое старое кладбище — это узел, в котором сплетаются несоприкасающиеся нити: разные пласты времени, жизнь и смерть, реальное и призрачное. Рациональность отступает, давая простор фантазии и вечному подозрению, что многое на свете не снилось нашим мудрецам. Если я долго разглядываю надгробье, которое меня чем-то взволновало — эпитафией ли, барельефом или высеченным на камне именем, — мне кажется, что я начинаю видеть человека, который здесь похоронен. Иногда даже слышу, как он мне рассказывает про свою жизнь, и это-то как раз совсем не страшно, а захватывающе интересно. Наверное, подобные видения (ну хорошо, пускай не видения — игры воображения) и сделали меня *тафофилом*.

Но на Гайдзин-боти, в самой старой его части, над могилами вдруг качнулся призрак, от которого мне сделалось не по себе. Я явственно увидел очертания Внезапной Смерти. Отныне она для меня останется такой навсегда, какое бы обличье ни принимала: автокатастрофы, несчастного случая, инфаркта или убийства. Я даже знаю, откуда это страшилище вынырнуло — из кошмарных снов, что некогда мучили по ночам здешних покойников. Именно такой она им несомненно и мерещилась.

У Внезапной Смерти узкие глаза, желтоватая кожа и косичка на макушке; она одета в латаное кимоно, в руке у нее бритвенно-острый меч из лучшей в мире стали. Нападает она без предупреждения. Вдруг ощущаешь холодок по спине — и в тот же миг на тебя обрушивается серия молниеносных, кромсающих на куски ударов.

«Правая рука обнаружена на некотором расстоянии, она еще сжимает уздечку пони. Одна сторона лица отсутствует, нос срезан, подбородок рассечен, голова почти отделена от туловища. Левая рука держится на лоскуте кожи, в левом боку глубокая рана, достигающая самого сердца. Все

разрезы ровные и аккуратные, что лишний раз доказывает, насколько смертоносным оружием является японская катана в руках искусного фехтовальщика. Виновник ужасного злодеяния так и остался неустановленным».

Это свидетельство очевидца, который описывает место преступления, совершенного 14 октября 1863 года, когда неизвестный ронин (бродячий самурай) зарубил двадцатилетнего Анри Камю, сублиейтенанта Третьего зуавского полка. Офицерик ни в чем перед ронином не провинился, просто слишком далеко отъехал от европейского Сеттльмента и слишком редко оглядывался назад. Неизвестный убийца подобным образом проявил патриотизм — не желал, чтобы «красноволосый дьявол» топтал своими сапожищами священную землю страны Ямато.

Бедного зуава собрали по частям и закопали на Гайдзин-боти, которое к тому времени уже успело принять изрядное количество жертв самурайской ксенофобии.

Не знаю, можно ли считать поводом для гордости то, что первыми постояльцами кладбища стали русские.

27 июля 6 года Эры Спокойного Правления (1859), вскоре после открытия Иокогамского порта, молоденький мичман Роман Мофет с клипера «Аскольд» был отправлен на берег за провизией в сопровождении двух матросов. Напали ронины — как обычно, без предупреждения. Мофета и матроса Соколова уложили на месте, второй матрос сумел убежать. Российский представитель граф Муравьев потребовал разыскать убийц, уволить местного губернатора и похоронить убитых достойным образом.

Ронинов не нашли, но губернатора уволили, а над могилой возвели помпезный памятник с колоннами и диковинным куполом луковкой, не столько русского, сколько мусульманского контура. С этого захоронения, собственно, и началось Гайдзин-боти — через два года вокруг набралось столько могил, что пришлось официально учредить специальное кладбище для иностранцев. На протяжении всех 60-х годов девятнадцатого века катана Внезапной Смерти поставляла сюда новых обитателей: голландцев, британцев, американцев, даже китайцев, имевших неосторожность одеваться по-западному.

Самый знаменитый из зарубленных *гайдзинов* — английский коммерсант Ричардсон, похороненный на 22-м участке. Этот пал жертвой собственного любопытства. В сопровождении двух приятелей он катался в окрестностях города и вздумал пялиться на сацумского князя, который возвращался из столицы в свою Кагосиму, сопровождаемый многочисленной свитой. Оскорбленные наглостью варвара самураи схватились за мечи. Ричардсон был убит, двое остальных, которым тоже изрядно досталось, сумели ускакать.

Британская эскадра предприняла масштабную акцию возмездия: разбомбила Кагосиму и истребовала астрономическую компенсацию; виновных самураев заставили сделать харакири. Это, так сказать, большая история, предназначенная для учебников. Но меня куда больше впечатлил факт, кажется, никого кроме меня не заинтересовавший.

Оба спутника злополучного Ричардсона — Маршалл и Кларк — похоронены здесь же, неподалеку. И пережили они своего исторического знакомого совсем ненадолго. Неизвестно, отчего они умерли — от лихорадки (когда-то вокруг Иокогамы было много болот), от несвежей рыбы или от падения с лошади, но и им не суждено было вернуться в Англию, их тоже прибрала Внезапная Смерть.

На Гайдзин-боти щедро представлены все ее разновидности: кораблекрушения, пожары, перевернувшиеся коляски и, конечно, апофеоз *росё-фудзё* — Великое Землетрясение 1923 года, не только существенно увеличившее население кладбища, но и подведшее черту под первым этапом его истории.

Впрочем, и помимо призрака лихой смерти, до сих пор витающего над гайдзинскими могилами, на кладбище много чудно го. Это место включено во все туристические путеводители по Иокогаме, но я ни разу не встречал там посетителей — разве что на вершине холма, возле главных ворот. Встанут на обзорной площадке, пощелкают камерами (старинные могилы на фоне небоскребов — очень эффектно), а вниз, в густую тень, не идут. Назвать эту тень манящей трудно. Какая-то она нехорошая. Над мертвыми камнями там висят огромные пауки, иные размером с хорошее блюдо. Их невесомые нити тянутся от мраморных ангелов к гранитным бодхисатвам, от китайских львов к христианским крестам и шестиконечным звездам, ибо здесь все религии вперемешку.

А напоследок Гайдзин-боти загадало мне загадку, над которой я ломаю голову до сих пор.

Дело в том, что с каждым из моих кладбищ я устраиваю нечто вроде игры в шарады. Происходит это следующим образом. Во время самого последнего посещения, когда всё, что нужно, уже осмотрено и сфотографировано, перед тем, как распрощаться, я выбираю первую попавшуюся могилу, читаю высеченную на ней надпись и пытаюсь разгадать, что она означает применительно ко мне. Обычно разгадываю, но на сей раз шарада оказалась слишком уж мудреной.

Судите сами.

Я закрыл глаза и ткнул пальцем в сторону. Там было какое-то надгробие, по виду ничего особенного. На камне темнела длинная иероглифическая надпись невразумительного содержания. Я срисовал иероглифы в записную книжку, пометил номер могилы, ее расположение (4-й участок, рядом с воротами) и

решил, что поразмыслию над этой головоломкой в самолете Токио — Москва, благо времени будет достаточно.

Так и поступил. Нашел по путеводителю имя покойника — «Карло де Нембрини, ум. 1903». Прочитал краткую биографическую справку: итальянский маркиз, потомок мантуанских Гонзага, был влюблен в Японию, принял буддийскую веру, на памятнике вырезано его посмертное монашеское имя «Андзюиндэндзюндзэндзиттайкодзи». Ну и в чем message, подумал я. В том, что имечко по непроизносимости напоминает фамилию «Чхартишвили»?

Разочарованно взглянул на соседнюю строчку брошюры — и закружилась голова.

Там было написано: «№ 41. Мидори, главная героиня литературного произведения».

Тут всё было странно: ни имени автора произведения, ни названия, да и вообще — как можно похоронить на кладбище литературную героиню? Не прототип, учтите, а именно героиню — *сюдзинко*.

Но это бы еще ладно. Главная странность заключалась в том, что я как раз заканчивал писать роман, действие которого происходило в Иокогаме 19 века и главную героиню которого звали Мидори! Она вполне могла бы быть похоронена на Гайдзин-боти.

Мне, как и другим беллетристам, не раз случалось испытать пугающее, но в то же время приятное потрясение, когда вымысел мистическим образом вторгается в реальность: встретишь человека с только что выдуманной тобой, совершенно небывалой фамилией, или в жизни произойдет то, что ты описал в романе, или сам угодишь в литературную, тобою же самим спроектированную ситуацию. Это нормально, месье профессии, главный фокус которой — как можно правдоподобней врать о том, что могло бы случиться, но чего на самом деле не было.

Однако никогда еще мое ремесло не глумилось надо мной столь явным и бесстыдным образом. Моя Мидори? Под номером 41? И я стоял рядом с этой могилой, не обратив на нее внимания!

Спокойно, сказал я себе. Должно существовать какое-то рациональное объяснение.

И оно, разумеется, нашлось.

Мои японские друзья навели справки и выяснили, что на 4-м участке Гайдзин-боти похоронена юная племянница известной японской писательницы Накадзато Цунэко, которая посвятила памяти девушки красивую новеллу. А Мидори — имя, пускай не самое распространенное, но и не такое уж редкое, так что всё это не более чем случайное совпадение.

Но я на этом не успокоился. Раздобыл книжку Накадзато Цунэко, стал читать — и снова голова пошла кругом. Знаете, о чем эта новелла? О прогулках по Гайдзин-боти и о том, какие мысли навеивает это место.

Я пишу о кладбище Гайдзин-боти, на котором похоронена девушка, которую я принял за персонаж из моего романа, но которая на самом деле — героиня новеллы другой писательницы, которая тоже писала о Гайдзин-боти.

Змея проглотила свой хвост, литература и жизнь окончательно перепутались друг с другом. Этого-то я всегда и боялся.

Непростое кладбище Гайдзин-боти, я давно это знал.

## Сигумо

На похоронах человека, который собирался стать буддой, публики было до неприличного мало. Из компатриотов один вице-консул Фандорин, бывший сослуживец покойного. Эраст Петрович стоял над узкой могилой, куда послушник только что опустил небольшой ящик с костями и пеплом, и слушал монотонный напев бонзы, теребя в руках шелковый цилиндр с крепом. Все японцы были в белом, и коллежский ассессор в своем траурном сюртуке выделялся, будто ворон среди голубиной стаи.

Но и японцев на монастырское кладбище пришла всего горстка — слухи о страшной смерти затворника Мэйтана перепугали всю туземную Иокогаму. В последний путь прах отшельника провожали лишь настоятель с послушником, вдова с маленькой дочкой и еще двое, державшиеся поодаль — на них Фандорин старался особенно не смотреть.

Европейский сэттльмент, население которого, согласно заметке в «Джапан газетт» от 15 августа 1881 года, только что перевалило за десять тысяч, в языческие бредни не верил и проигнорировал похороны по иной причине. Консул Вебер сказал своему помощнику: «Эраст, дело, конечно, твое. Считаешь необходимым — иди, но, пожалуйста, никаких надгробных речей. Не забывай, этот субъект изменил своей вере, своему отечеству и всей белой расе».

Так оно в общем-то и было. Человек, в последние годы жизни называвший себя Мэйтаном, добровольно отказался от чина, дворянства, российского подданства, православной религии, даже от собственного имени. Взял фамилию японской жены, вместо пиджака и брюк стал носить кимоно, а позднее облачился в рясу буддийского монаха и прекратил все сношения с соотечественниками, даже с Фандориным, с которым прежде прятельствовал. За три года они не виделись ни разу. Эраст Петрович знал причину этой

непреклонности и, в отличие от консула Вебера, относился к ней с пониманием и состраданием.

Причина присутствовала здесь же, в могильном дворе Храма Преумножения Добродетели, где ренегат провел последний период своей жизни. Маленькая девочка, запоздалый ребенок бывшего российского подданного и его японской жены, сидела рядом с матерью в плетеной коляске и сонно клевала носиком, убаюканная пением сутр. В таком возрасте дети уже вовсю ходят и даже бегают, но этот ребенок родился на свет с безжизненными, парализованными ногами. Тогда-то несчастный отец и удалился в монастырь секты Сингон. Взял имя Мэйтан, что означает Взыскующий Просветления, и вознамерился при жизни стать буддой.

Вдова усопшего, Сатоко, стояла возле коляски с совершенно неподвижным лицом. Ее глаза были сухими, ибо публичное проявление скорби расстроило бы окружающих.

Здесь вообще никто не проявлял эмоций.

Настоятель Согэн, как и подобает буддийскому священнику, всем своим видом показывал, что смерть — событие отрадное и в некотором смысле даже праздничное. Что ж, такая у преподобного была работа.

Плюгавенький служка шмыгал носом и поглядывал в могилу с нескрываемой опаской, не отходя от настоятеля ни на шаг, но никакой скорби его бледная, слегка приплюснутая физиономия не выражала.

Когда же Фандорин, улучив момент, повнимательнее рассмотрел парочку, что держалась поодаль, ему показалось, что женщина улыбается. Нет, то была не улыбка — скорее оскал жадного, нетерпеливого любопытства.

Впрочем, это существо, один взгляд на которое вызывал содрогание, назвать женщиной можно было только с большой натяжкой.

На спине у здоровенного слуги, в заплечном мешке, отдаленно напоминающем альпинистский рюкзак, сидело диковинное создание: красивая женская голова с замысловатой, тщательно уложенной прической симада-магэ на крошечном тельце четырехлетнего ребенка. Уродка внимательно следила за церемонией, быстро поводя вправо-влево точеным подбородком. Крошечная ручка возбужденно постукивала веером по бритой макушке слуги.

Фандорин встретился взглядом с блестящими глазами пигалицы и, смутившись, отвернулся. Присутствие этой несчастной придавало и без того печальной церемонии какую-то особую макаберность.

Больше на кладбище никого не было — так, во всяком случае, считал Фандорин до тех пор, пока его внимание не привлек неприятный звук: будто кто-то смачно, что называется, от души харкнул.

Вице-консул оглянулся и увидел за невысокой бамбуковой оградой, отделявшей буддистское кладбище от соседнего христианского, человека в брезентовой куртке и полосатой матросской рубахе. Он стоял, опершись на перекладину и наблюдал за похоронами с явной враждебностью.

Красная, поросшая пегой щетиной рожа дергалась злобным тиком. Одна нога зрителя была обута в стоптанный сапог, вторая, деревянная, свирепо постукивала по земле.

Какой-то конгресс инвалидов, подумалось Фандорину, и он поморщился — устыдился собственного жестокосердия.

Тут одноногий совершил поступок, заставивший вице-консула и вовсе покраснеть от стыда — уже не за себя, а за всю европейскую расу. Несимпатичный *гайдзин* (так в Японии называли иностранцев) плюнул через ограду коричневой табачной слюной, хрипло загоготал и выкрикнул по-английски:

— Мартышкины похороны! Всех бы вас закопать, макаки чертовы!

Преподобный Согэн покосился на нарушителя чинности, но молитвы не прервал. Вдова же дернулась, как от удара, и ее бледное лицо сделалось еще бледней. Фандорин знал, что Сатоко понимает по-английски, а стало быть, отвратительную выходку нельзя было оставлять без последствий.

Молодой человек почтительно отступил на несколько шагов, потом, стараясь привлечь к себе поменьше внимания, развернулся и быстро направился к невеже.

— Вон отсюда, — сказал он тихим, звенящим от ярости голосом. — Иначе...

— Кто ты такой, япошкин прихвостень? — уставился на него инвалид бесстрашными, выцветшими глазами. — Не твякай на старину Сильвестера, не то он попортит твою смазливую мордашку.

В здоровенной ручище что-то щелкнуло, из кулака выскочило лезвие испанского ножа.

— Я вице-консул Российской империи Фандорин, — назвалса Эраст Петрович. — А вы к-кто?

— Я вице-консул Господа нашего на этом кладбище. Понял ты, зайка несчастный? — в тон ему ответил Сильвестер, еще раз сплюнул и заковылял прочь, в сторону каменных надгробий, увенчанных крестами.

Кладбищенский смотритель или сторож, догадался Фандорин и пообещал себе, что после похорон непременно наведается к приходскому священнику — пусть сделает грубияну внушение.

Когда коллежский асессор вернулся к могиле, церемония уже закончилась. Настоятель пригласил всех к себе, выпить в память об усопшем.

— Вот желание Мэйтана и осуществилось, — благодушно промурлыкал преподобный, когда послушник наполнил чарки подогретым сакэ, которое в монастыре называли *ханья*, то есть «ведьмин кипятку». — Он хотел стать буддой и стал, только не при жизни, а после смерти. Так оно еще лучше.

Помолчали.

Через открытые перегородки из сада дул свежий ветерок, по временам покачивая священный свиток, висевший над головой настоятеля.

— Ибо смерть должна быть ступенькой вверх, а не топтанием на месте. Если ты уже стал буддой, то куда после этого подниматься? — продолжил Согэн, смакуя вино.

Женщины — Сатоко и та, вторая, похожая на головастика (Эраст Петрович уже знал, что ее зовут Эми Тэрада), — молитвенно сложили руки, причем Эми еще и сочувственно покивала своей замысловатой прической. Сидела она не нормальным образом, на коленях, а в специальном станке, куда ее пристроил слуга, прежде чем удалиться.

Понимая, что это лишь начало пространной проповеди, Фандорин решил повернуть разговор в ином направлении, занимавшем его куда больше, чем благочестивые рассуждения.

— О кончине святого отшельника ходят самые диковинные слухи, — сказал он. — Г-говорят вещи, в которые невозможно поверить...

Лицо настоятеля залучилось добродушной улыбкой — как и следовало ожидать, Согэн отнесся к гайдзинской невоспитанности снисходительно. Улыбка означала: «Всем известно, что некоторые иностранцы могут выучить японский язык так же хорошо, как этот голубоглазый дылда, но приличным манерам обучить их невозможно».

— Да, наша мирная обитель подверглась тяжкому испытанию. Некоторые даже говорят, что над Храмом Преумножения Добродетели повисло проклятье. Мы опасаемся, что количество паломников теперь уменьшится. Хотя, с другой стороны, многих, наверное, привлечет аромат таинственного. Мир Будды иногда подобен залитой солнцем равнине, а иногда — ночному лесу. — Повернувшись к вдове, преподобный мягко сказал. — Я знаю, дочь моя, как тяжело вам говорить об этом ужасном происшествии, перевернувшем вашу жизнь и омрачившем мирное существование нашей обители. Но слова — лучшее средство против горя, они так поверхностны и легковесны, что, облачив в них свою печаль, вы тем самым облегчаете бремя, гнетущее вашу душу. Чем чаще вы будете рассказывать эту страшную историю, тем скорее ваша душа вернет утраченную гармонию. Поверьте, я знаю, что говорю. Это ничего, что я и Тэрада-сан знаем все подробности, мы слушаем еще раз.

Плечи Сатоко мелко задрожали, но она взяла себя в руки. Поклонилась настоятелю, потом Фандорину. Заговорила ровным голосом, умолкая всякий раз, когда нужно было справиться с волнением. Слушатели терпеливо ждали, и некоторое время спустя рассказ возобновлялся.

Время от времени вдова рассеянно поглаживала по голове свою дочурку, сладко спавшую на татами, — казалось, что эти прикосновения придают Сатоко сил.

— Вы, должно быть, знаете, Фандорин-сан, что супруг давно уже не живет со мной. С тех пор, как родилась Акико...

Тут голос рассказчицы прервался, и Эраст Петрович воспользовался паузой, чтобы рассмотреть девочку получше.

Обычно дети, рожденные от связи европейца и японки, замечательно хороши собой, но бедняжке Акико не повезло. Злому року было мало того, что она родилась на свет калекой, — личико девочки, будто нарочно, собрало в себе непривлекательные физиогномические особенности обеих рас: клювоподобный нос, маленькие припухшие глазки, желтоватые паклевидные волосы. Коллежский советник вздохнул и отвел глаза в сторону, но там сидела жуткая Эми, так что пришлось перевести взгляд на румяное лицо настоятеля, обмахивавшего блестящую макушку маленьким веером.

— Он говорил, что царевич Сиддхартха Гаутама тоже ушел от жены и первенца, что алкающий просветления должен отречься от своей семьи, — мужественно продолжила Сатоко свой рассказ. — Но я знаю, что на самом деле он хотел наказать себя за то, что Акико родилась... родилась такой. В юности он перенес дурную болезнь и считал, что это ее последствия. Ах, Фандорин-сан, — она впервые за все время подняла на вице-консула глаза, — вы давно его не видели. Он очень изменился. Вы бы его не узнали. В нем не осталось почти ничего человеческого.

— Мэйтан очень далеко продвинулся по Восьмиступенной Тропе Просветления, — подхватил настоятель. — Преодолеет первую ступень — Правильного Понимания, вторую — Правильного Целеустремления, третью — Правильного речеизъявления, четвертую — Правильного Поведения, пятую — Правильной Жизни, шестую — Правильного Старания и седьмую — Правильного Умонастроения. Оставалась последняя, восьмая — Правильного Медитирования. Чтобы преодолеть ее, Мэйтан выстроил в нашем саду павильон и дни напролет созерцал Лотос, помещенный в центр Лунного Диска, дабы совместить свое *когоро с когоро* Цветка, ибо лишь в этом случае...

— Я знаю, что такое м-медитация перед изображением Адзи-кан, — перебил Фандорин, боясь, что разговор свернет в дебри эзотерического буддизма.

Согэн вновь улыбнулся, ласково покивав дипломату головой, и лишь развел пухлыми ручками.

Стоявший у него за спиной послушник вытаращил на вице-консула глаза.

Эраст Петрович скромно потупил взгляд. Он жил в Стране Небесного Корня уже четвертый год и, в отличие от большинства иностранцев, увлеченно постигал тайны японского мира, в том числе и куда более сокровенные, чем обычное медитирование.

— Прошу вас, Сатоко-сан, продолжайте, — попросил вице-консул.

— Три года мы жили поврозь. Муж позволил мне навещать его один раз в неделю. Мы обменивались несколькими словами, потом я готовила ему *фуро* и подогривала кувшинчик сакэ — это была единственная плотская отрада, которую он позволял себе воскресными вечерами. Пока Мэйтан сидел в бочке с горячей водой, я ждала в саду — супруг не разрешал мне находиться рядом. Потом, ровно час спустя, подавала ему полотенце, выливая воду, и мы расставались до следующего воскресенья...

Сатоко замолчала, низко опустив голову, а Фандорин подумал, что, наверное, лишь японская жена способна на подобное самопожертвование, причем, конечно же, ни разу не пожаловалась, не позволила себе ни единого укоризненного взгляда.

— Так было и в минувшее воскресенье. Я наполнила *фуро* водой, которую сначала принесла из колодца, а потом подогрела. Помогла Мэйтану сесть, поставила рядом кувшинчик и вышла побродить по саду — там, где хоронят монахов и отшельников. Это совсем близко от места, где похоронили мужа... — Голос вдовы чуть дрогнул, но рассказ не прервался. — В небе светила полная луна, так что было совсем светло. Вдруг у ограды гайдзинского кладбища я увидела высокую фигуру в длинном черном одеянии.

— У ограды? — быстро спросил Эраст Петрович. — С этой стороны или с той?

— Сначала мне показалось, что человек стоит с другой, гайдзинской стороны, но потом фигура сделала странное движение, как будто передернулась, и сразу оказалась ближе, в монастырском саду. Я увидела, что это бродячий монах *комусо* — как положено, в рясе, на голове *тэнгай*.

Так называлась соломенная шляпа особой формы, закрывавшая лицо до самого подбородка, с прорезями для глаз. Фандорин не раз видел на улицах Июкогамы этих безликих странников, собиравших подаяние для своей обители.

— В монахе было что-то необычное, я не сразу поняла, что именно — только когда он приблизился. Во-первых, он был ужасно высокий, даже выше, чем вы. Во-вторых, он как-то слишком плавно шел — словно не переступал ногами по земле, а плыл или скользил по ней. Впрочем, толком разглядеть это я не могла — над травой стелился ночной туман. Да и невежливо пялиться на ноги святому человеку. Я приняла его за гостя храма. Поспешила ему навстречу, поклонилась и спросила, не могу ли я ему чем-нибудь услужить. Быть может, он заблудился в саду, или не может найти уборной, или желает отдохнуть на скамье возле Карпового пруда.

Монах ничего не отвечал. Тогда я разогнулась, посмотрела на него снизу вверх и увидела... увидела, что у него нет головы. Сквозь редкое плетение соломы зияла пустота. У *комусо* прямо над плечами мерцал желтый диск луны. Тут он протянул ко мне руку, и я увидела, что рукав рясы тоже пуст — в нем одна чернота. А потом я уже ничего не видела, потому что милосердный Будда позволил мне лишиться чувств. Ах, почему оборотень не высосал *мою* кровь? Все равно я была в обмороке и ничего бы не ощутила!

Это была единственная фраза, которую рассказчица произнесла с чувством. Эраст Петрович знал, что Сатоко — женщина здравого ума, вряд ли склонная к истерическим галлюцинациям, и не нашелся, что сказать — так поразила его эта фантастическая история.

А ужасная Эми Тэрада воскликнула:

— И она еще спрашивает! Потому он и не стал сосать вашу кровь, что вы лишились чувств. Сигумо должен смотреть в глаза жертвы, иначе ему невкусно. Уж я-то его повадки знаю!

— Кто-кто? Сигумо? — повторил вице-консул незнакомое слово.

— Расскажите про Паука Смерти, дочь моя, — наклонился к карлице настоятель. — Господину чиновнику восьмого ранга это будет интересно. В мире Будды немало диковинного, и нам, жалким недоумкам, подчас не под силу разобраться в этих пугающих явлениях. Остается лишь уповать на молитву. Прошу вас, Тэрада-сан.

Фандорин заставил себя смотреть на полуженщину-полуробенка, чтобы не оскорблять ее чувств. Вот ведь странно! Каждая из частей тела Эми Тэрады была само совершенство: и утонченное лицо, и очаровательное миниатюрное тельце, но, прилепленные друг к другу, две прекрасные половинки образовывали поистине устрашающее целое.

— Мой отец, наследственный владелец прославленного купеческого дома, отличался набожностью и два раза в год — перед цветением сакуры и на праздник Бон — со всей семьей непременно отправлялся на богомолье в какой-нибудь известный храм или монастырь, — охотно начала Эми. Сразу было видно, что эту историю она рассказывала много раз. — Так было и в то лето, когда мне сравнялось четыре года. Мы приехали в этот достопамятный монастырь, чтобы почтить память предков. Ночью мои родители отправились на реку — спустить на воду поминальный кораблик, а меня оставили в гостевых покоях, на попечении

няньки. Она скоро уснула, я же, взбудораженная ночлегом в непривычном месте, лежала на футоне и смотрела на потолок. Снаружи светила луна, и по доскам колыхались причудливые черные пятна — это покачивались деревья в саду под дуновением ветра. Вдруг я заметила, что одно из пятен гуще остальных. Оно тоже двигалось, но не влево-вправо, а сверху вниз. Я смотрела на него во все глаза и вдруг поняла: это не тень, а какой-то черный комок или сгусток. Он завис над моей похрапывающей нянькой, немного покачался и стал перемещаться в мою сторону, быстро увеличиваясь. Я увидела, что это огромный черный паук, который раскачивался на свисавшей с потолка паутине. Хотя я была совсем еще крошка и мало что понимала, но мне сделалось невыносимо страшно — так страшно, что перехватило дыхание. Я хотела позвать няньку, но не могла.

Эми испытующе заглянула Фандорину в глаза, чтобы проверить, насколько тот увлечен рассказом.

Вице-консул слушал внимательно и даже иногда вставлял учтивые восклицания: «Ах вот как?» «О!» «Э-э-э?!», но пигалице этого, кажется, показалось недостаточно. Она зловеще сдвинула брови и заговорила сдавленным, замогильным голосом:

— Я зажмурилась от ужаса, а когда открыла глаза, увидела над собой монаха в черной рясе и низко опущенной соломенной шляпе. В первый миг я обрадовалась. «Дяденька, — пролептала я. — Как хорошо, что ты пришел! Здесь был большой-пребольшой паук!» Но монах поднял руку, и из рукава ко мне потянулось мохнатое щупальце. О, до чего оно было отвратительно! Я ощутила острый запах сырой земли, увидела прямо перед собой два ярких, зловонных огонька и уже не могла больше пошевелиться. Вот отсюда по всему телу стала разливаться холодная немота. — Крошечная ручка с длинными, покрытыми лаком ноготками коснулась горла. — Сигумо наверняка высосал бы из меня всю кровь, но тут нянька громко всхрапнула. На миг паук расцепил челюсти, я очнулась и громко заплакала. «Что? Плохой сон приснился?» — спросила нянька хриплым голосом. В то же мгновение монах сжался, превратился в черный шар и стремительно взлетел к потолку. Секунду спустя осталось лишь пятно, но и оно превратилось в тень... Я была слишком мала, чтобы толком объяснить родителям, что со мной произошло. Они решили, что я заболела лихорадкой, и это из-за нее мое тело перестало расти. Но я-то знала: это Сигумо высосал из меня жизненные соки.

Она заплакала, что, очевидно, входило в ритуал рассказа. Во всяком случае ни Сатоко, ни настоятель утешать ее не стали. Плакала Эми весьма изящно, прикрыв лицо узорчатым рукавом, а потом деликатно высморкалась в бумажный платочек.

Добродушно улыбнувшись, преподобный сказал:

— Нет худа без добра. Зато мы имеем счастье уже столько лет оказывать вам гостеприимство, дочь моя. Госпожа Тэрада со слугами и служанками проживает в особом доме, на территории монастыря, — пояснил Согэн вице-консулу. — И мы от души этому рады.

Эми взглянула из-за рукава на дипломата и поняла, что тот не слишком впечатлен ее историей. Глаза кукольной женщины сердито засверкали, и настоятелю она ответила грубо:

— Еще бы! Ведь батюшка платит за меня монастырю немалые деньги! Лишь бы я не мозолила ему глаза своим уродством!

И тут уж разрыдалась по-настоящему, громко и зло.

Согэн несколько не обиделся.

— Как знать, что такое уродство? — примирительно сказал он. — Безобразнейший из смертных бывает прекрасен в глазах Будды, а наипервейшая красавица может казаться Ему мерзким гноилищем.

Но это глубокомысленное суждение не утешило Эми, она разревелась еще пуще.

Наклонившись к Сатоко, коллежский ассессор вполголоса спросил:

— Значит, вы не видели, как всё произошло? Обморок был таким глубоким?

— Когда мы нашли Сатоко-сан, то решили, что она мертва, — ответил за вдову преподобный. — Сердце билось медленно, едва слышно. Лекарю удалось вернуть ее к жизни лишь ценой многочасовых усилий при помощи китайских иголок и прижиганий моксой. К тому времени тело несчастного Мэйтана уже давно унесли. Поистине прискорбная кончина для праведника.

— А все потому что меня не послушали, — шмыгнула носом Эми. — Что я вам сказала, когда возле павильона нашли кучу?

— П-простите? — удивился Эраст Петрович.

— Мне неловко говорить за столом о подобных вещах... — Сатоко виновато посмотрела на дипломата. — Но за неделю до смерти, утром, муж обнаружил на пороге своей кельи большую кучу нечистот.

— Дерьма, — коротко пояснил настоятель удивленно поднявшему брови Фандорину. — Здоровенную. Человеку столько не навалить, даже если он съест целый мешок риса с соевым соусом.

— А Сигумо может! — блеснула глазами Эми. — Облик у него паучий, а дерьмо человеческое, потому что он оборотень. Я сразу тогда сказала Сатоко-сан: «Неспроста это, берегитесь. Какой-нибудь нечистый дух подбираться к вашему супругу». Сказала я так или нет?

— Да, это правда, — тихо молвила Сатоко. — А я лишь посмеялась. Никогда себе этого не прощу. Но покойный супруг не верил в нечистую силу и мне запрещал...

— Это потому что он был гайдзин, хоть и святой отшельник, — отрезала Эми. — Душа у него была неяпонская. Нипочем ему было не достичь просветления, так до скончания века и топтался бы на восьмой ступени.

Бестактное замечание повлекло за собой продолжительную паузу. Настоятель наморщил лоб, но так и не вспомнил какого-нибудь спасительного изречения. Послушник вжал голову в плечи. Сатоко просто опустила глаза.

— П-преподобный, а мог бы я посмотреть на место, где умер Мэйтан? — спросил Эраст Петрович.

— Разумеется. Вас проводит Араки. — Настоятель кивнул на послушника. — Всё покажет и расскажет. К тому же именно он первым обнаружил Мэйтана.

Коллежский ассессор и его провожатый прошли через посыпанный белым песком двор, миновали трехъярусную пагоду и оказались в монастырском саду, замечательно просторном и тенистом.

— Раньше сад был еще больше, но пришлось отдать половину под кладбище заморских варваров, — сказал Араки и, покраснев, поправился. — То есть, я хотел сказать, господ иностранцев.

— А где же келья Мэйтана?

— Она была за колодцем, вон в тех зарослях, — показал монашек. — Но после того, что случилось, отец Согэн провел церемонию очищения: сжег павильон дотла, чтобы отогнать от нехорошего места злых духов.

— Сжег? — нахмурился вице-консул. — Ну, рассказывайте. Лишь то, что видели собственными глазами. И, пожалуйста, ничего не упускайте, никаких п-подробностей.

Араки кивнул и старательно наморщил лоб.

— Значит, так. На рассвете я проснулся и вышел по нужде. По малой нужде. Я всегда в четвертом часу после полуночи просыпаюсь и выхожу по малой нужде, даже если накануне выпил всего одну чашку чаю. Таково уж устройство моего мочевого пузыря. Должно быть, он...

— Подробно, но не до такой степени, — перебил его Фандорин. — Итак, вы проснулись в четвертом часу. Где находится ваша спальня?

— Младшая братия спит вон там, — показал Араки на длинное одноэтажное здание. — У нас в конце коридора есть свое отхожее место, но на рассвете я всегда хожу мочиться в сад — там такой чудесный предрассветный сумрак, так благоухают растения, и уже начинают петь птицы...

— П-понятно. Дальше.

— Ночью я несколько раз просыпался, потому что где-то близко выли и рычали собаки. Когда же я вышел в сад, то увидел, что вон там, подле сточной канавы, собралась целая свора бродячих псов. Они лезли друг на друга, шумели. Раньше такого никогда не случалось. Я подошел, чтобы их отогнать...

— В канаве что-нибудь было? — быстро спросил дипломат.

— Не знаю... Я не посмотрел. По-моему, ничего, иначе я бы заметил.

— Хорошо, п-продолжайте.

— Я замахнулся на псов своим *гэга*. Кажется, правым, — добавил Араки, видимо вспомнив о подробностях. — Вы знаете, иокогамские дворняжки очень трусливы, прогнать их нетрудно. Но эти собаки были странные. Они не убежали, а бросились на меня с рычанием и лаем, так что я не на шутку испугался и кинулся бежать — по направлению к келье Мэйтана. Собаки отстали, я остановился возле павильона перевести дух и вдруг заметил нечто удивительное. Отшельник сидел в бочке с водой. Я знал, что по воскресеньям вечером отец Мэйтан принимает фуру в саду рядом со своей кельей. Наслаждается теплом, чистотой, стрекотом цикад... Но не до рассвета же! Голова Мэйтана была запрокинута, и я решил, что он спит. Должно быть, разморило в горячей воде. Но где же его *оку-сан*! Не могла же она уйти? Я приблизился и позвал отшельника. Потом почтительно тронул его за плечо. Кожа оказалась совсем холодная, а вода в бочке и вовсе ледяная.

— Вы уверены?

— Да, я даже отдернул руку. Становилось светло, и я заметил, что Мэйтан белого цвета. Такими белыми не бывают даже гайдзины! А еще я разглядел на шее у него две красных точки, вот здесь... — Послушник передернулся и с опаской поглядел по сторонам. — Мне стало не по себе. Я попытался и споткнулся об *оку-сан*. Она лежала в высокой траве и была в черном кимоно, поэтому я ее не сразу разглядел. Ну, тут я закричал, побежал в братский корпус и поднял всех на ноги... Это уж потом мне объяснили, что на Мэйтана напал паук-оборотень и высосал из него всю кровь. Лекарь сказал, что Сигумо не оставил в жилах мертвеца ни единой капельки.

— Ни единой? Вот как... А где б-бочка, в которой сидел Мэйтан? Я бы хотел на нее взглянуть.

Послушник удивился:

— Как где? Отец настоятель, конечно же, приказал ее сжечь. Разве можно было оставить в обители этот

нечистый предмет?

— Место преступления затоптано, улики уничтожены, свидетелей нет, — пробормотал вице-консул по-русски и вздохнул.

Араки, побряхтев, робко произнес:

— Если вам будет угодно выслушать мое ничтожное мнение, отец Мэйтан сам виноват. Как это можно, чтобы гайдзин вознамерился стать буддой? Немудрено, что Сигумо на него разгневался. Вот и вы, господин, знаете слишком много для иностранца — даже про то, как медитировать перед изображением Лотоса. Лучше бы вам уйти отсюда, и чем скорее, тем лучше. Сигумо где-то здесь, он всё видит, всё слышит...

— Б-благодарю за добрый совет, — слегка поклонился Фандорин.

Наведаясь на пепелище, побродил по поляне. Задумчиво пробормотал вслух, опять по-русски:

— Что за странная судьба. Родиться в Петербурге, закончить Училище п-правоведения, дослужиться до коллежского советника, а потом стать Мэйтаном и насытить своей кровью японского оборотня...

Присел на корточки, поковырял землю. То же самое проделал у сточной канавы, но провозился там дольше — минуты этак с три. Покачал головой, встал.

— Ладно, теперь к п-преподобному.

У порога настоятельского дома топтался детина, плечи которого служили Эми Тэраде средством передвижения. Вице-консул вспомнил, как бесцеремонно калека обходится со своим слугой. Слов на него она не тратила: если нужно было повернуть налево, дергала за одно ухо, если направо — за другое; когда хотела остановиться, нетерпеливо молотила веером по макушке. Здоровяк сносил такое обращение самым смиренным образом. Когда он бережно усаживал свою хозяйку в покоях Согэна, то по оплошности слишком сильно сдавил ее своими ручищами. Маленькая злюка немедленно впилась ему в запястье мелкими, острыми зубками — да так, что выступила кровь. Но слуга безропотно стерпел наказание и еще рассыпался в извинениях.

Послушник Араки поднялся по ступенькам, а Фандорин задержался подле слуги.

— Как тебя зовут?

— Кэнкити, — грубым и зычным басом ответил здоровяк.

Он был на пару дюймов выше Эраста Петровича, то есть необычайно высоким для туземца. Грудь — как бочка, широченные плечи, а руки с хорошую оглоблю. Из-под низкого лба на гайдзина смотрели сонные, припухшие глаза.

— Тебе, должно быть, очень много платят за твою нелегкую службу? — спросил Фандорин, с любопытством разглядывая великана.

— Я получаю кров, еду и десять сэнов в неделю, — равнодушно пророкотал тот.

— Так мало? Но при твоей стати ты мог бы найти куда более выгодную с-службу!

Слуга молчал.

— Наверное, ты привык к своей госпоже? Привязался к ней? — не унимался заинтригованный вице-консул.

— Чего?

— Я говорю, ты, вероятно, очень любишь свою г-госпожу?

Кэнкити искренне удивился:

— Да как же ее не любить? Она такая... красивая. Она как куколка *хина-нише*, которую ставят на алтарь в Праздник Девочек.

Воистину *chacun a son gout* (о вкусах не спорят — фр.) подумал Эраст Петрович, поднимаясь на крыльцо.

— Отец настоятель, сударыни, я осмотрел место з-злодеяния и теперь знаю, как снять с монастыря проклятье, — объявил коллежский ассессор прямо с порога. — Я сделаю это нынче же ночью.

Преподобный Согэн поперхнулся «ведьминым кипятком» и громко закашлялся. Эми испуганно всплеснула рукавами, а Сатоко быстро обернулась к вошедшему.

Дипломат обвел всех троих веселым, уверенным взглядом и опустился на циновки.

— Задача не из г-головоломных, — обронил он и потянулся к кувшинчику. — Вы позволите?

— Да-да, конечно. Прошу извинить! Настоятель сам налил гостю сакэ, причем не совсем удачно — на столик пролилось несколько капель.

— Мы не ослышались? Вы собираетесь прогнать из монастыря оборотня?

— Не прогнать, а п-поймать. И, уверяю вас, это будет не так уж трудно, — загадочно улыбнулся Эраст Петрович. — Как известно, оборотни имеют две природы — призрака и человека. Вот на человека-то я и поохочусь.

Трое остальных переглянулись. Побряхтев, Согэн деликатно заметил:

— Господин чиновник восьмого ранга, мы слышаны о ваших выдающихся способностях... Я знаю, что вы получили орден за расследование убийства министра Окубо. Известно также, что наше правительство

не раз обращалось к вам за советом в весьма запутанных делах, но... Но это материя совсем иного рода. Здесь вам не помогут достижения техники и ваш замечательный ум. Мы ведь имеем дело не с заговорщиком и не с убийцей, а с Сигумо.

Последнее слово настоятель произнес совсем тихо — таким зловещим шепотом, что у малютки Эми от страха задрожал подбородок.

— Раз убил — значит, убийца, — хладнокровно пожал плечами Эраст Петрович. — А убийцу оставлять без кары нельзя. Это подрывает устои общества, не правда ли, святой отец?

Настоятель вздохнул, возвел очи к потолку:

— До чего же вы, люди Запада, ограничены! Вы верите только тому, что можно увидеть глазами и пощупать руками. Именно это и погубит вашу цивилизацию. Умоляю вас, Фандорин-сан, не шутите с нечистой силой. У вас нет для этого ни достаточных знаний, ни подходящего оружия. Вы погибнете и тем самым навлечете на нашу обитель еще большие несчастья! И тут Сатоко тихо сказала:

— Вы зря тратите время, преподобный. Я знаю господина чиновника восьмого ранга. Если он принял решение, то не отступится. Сегодня ночью Сигумо будет наказан за смерть моего мужа.

Куда меньше оптимизма проявил начальник Эраста Петровича, узнав о намерении своего помощника.

— Есть три вероятности, — недовольно объявил консул, поочередно загибая костлявые остзейские пальцы. — Ты спровоцируешь дипломатический скандал на почве оскорбления туземных верований. Ты ввяжешься в уголовщину и получишь удар ножом. Ты ничего не добьешься и лишь выставишь себя, а заодно и Российскую империю, на посмешище перед всем Сеттльментом. Ни один из трех вариантов мне не нравится.

— Существует еще ч-четвертый. Я поймаю убийцу.

— Стало быть, три к одному? — уточнил Вебер, заядлый игрок на скачках. — Идет. Триста против ста? Только ставку внеси заранее. На случай, если не вернешься.

Эраст Петрович выложил на стол сто серебряных мексиканских долларов, консул — триста. Пари было скреплено рукопожатием, и Фандорин отправился готовиться к ночной эскападе.

Поразмыслив, он пришел к выводу, что для встречи с японским оборотнем будет уместней одеться по-туземному. В гардеробе у коллежского асессора имелось два японских наряда: белое кимоно с ткаными гербами (подарок принца императорской крови за консультацию в одном щекотливом деле) и черный облегающий наряд, какие носят *синоби*, мастера из клана профессиональных шпионов. Надев этот костюм да еще прикрыв лицо черной маской, в темноте становишься почти невидимым.

После недолгого колебания Эраст Петрович выбрал белое кимоно.

На дело он отправился за час до полуночи. Прошел по Банду, главной эспланаде Сеттльмента, миновал мост Ятобаси и оказался на холме, где располагался монастырь Преумножения Добродетели.

Время было позднее, и никого из знакомых Эраст Петрович не встретил — иначе пришлось бы объясняться по поводу странного наряда.

Миновав ворота буддийской обители, вице-консул поднялся чуть выше — туда, где начиналось Иностранное кладбище. Калитка была закрыта, но дипломата это не остановило. Он засунул за пояс полы своего длинного одеяния и с обезьяньей ловкостью перелез через ограду.

За двадцать лет своего существования кладбище изрядно разрослось — вместе с Сеттльментом. Трудно было поверить, что не столь давно этот кусок земли принадлежал монастырю секты Сингон — ничего «языческого» здесь не осталось. Лунный свет, просачиваясь сквозь листву, ложился пятнами на мраморные распятья, чугунные оградки, кургузых каменных ангелов. Попадались и православные кресты, наглядное подтверждение российского присутствия на Тихом океане.

Эраст Петрович шел по каменной дорожке, звонко стуча деревянными сандалиями, да еще насвистывал японскую песенку. На его белоснежном кимоно вспыхивало искорками серебряное шитье гербов.

Вдруг он заметил, что над некоторыми могилами поигрывает точно такое же серебристое сияние. Присмотрелся — и поневоле вздрогнул.

Над перекалиной креста поблескивала паутина, в центре которой покачивался огромный черный паучище. Эраст Петрович сказал себе: «Спокойно, это японский длинноногий паук, *Heteropoda venatoria*, у них сейчас пора ночной охоты». Тряхнул головой и отправился дальше, насвистывая громче прежнего.

Сзади послышался не вполне понятный звук: какое-то шарканье вперемежку со стуком. Шум быстро приближался, но коллежский асессор его, казалось, не слышал. Остановился подле бамбуковой ограды, за которой начиналась туземная часть кладбища. Беспечно потянулся.

— Гнусная мартышка! — просипел по-английски прерывающийся от бешенства голос. — Я тебе покажу, как топтать освященную землю!

И на спину дипломата обрушился удар тяжелого костыля, но Эраст Петрович так проворно отскочил в сторону, что заостренный, окованный железом конец едва коснулся шелкового кимоно.

— Наглые японские твари! — прорычал одноногий кладбищенский сторож. — Вам мало поганить

воздух языческими курениями и тревожить усопших своими бесовскими завываниями! Ты посмел нарушить ночной покой христианских душ! За это ты мне дорого заплатишь!

Произнося эту тираду, Сильвестер продолжал наскокивать на нарушителя ночного спокойствия, размахивая своим устрашающим оружием. Вице-консул без труда уклонялся от ударов, все глубже отступая в густую тень деревьев.

— Ах, ты так?! — взъярился полоумный калека. — Закопаю под забором, как собаку!

И метнул в противника костыль, да так сноровисто, что Фандорин едва успел присесть — иначе железное острие пронзило бы ему грудь. Просвистев в воздухе, оно с хрустом впилося в ствол дерева.

Но и этого Сильвестеру показалось мало.

Раздался звонкий щелчок, и в руке сторожа сверкнуло длинное лезвие навахи. Кажется, он всерьез собрался осуществить свое кровожадное намерение.

А между тем, отступать коллежскому асессору было некуда: спиной он уперся в дерево, справа был забор, слева — колючие кусты.

Однако Эраст Петрович и не думал отступать. Напротив, он сделал шаг навстречу и поступил с инвалидом не по-джентльменски: из правого рукава кимоно вылетела тонкая стальная цепочка с крюком на конце, обвилась вокруг деревяшки, заменявшей Сильвестеру ногу, рывок — и сторож грохнулся на спину. Фандорин наступил на руку, сжимавшую нож, а второй ногой нанес несостоявшемуся убийце три-четыре несильных, но точно выверенных удара, произведших самое благотворное действие: злобный калека перестал изры-гать ругательства и, как пишут в старых романах, совершенно умирился нравом.

— Друг мой, — мягко сказал ему Эраст Петрович. — У меня есть к вам несколько в-вопросов.

Десять минут спустя над бамбуковой оградой взметнулась белая, посверкивающая серебром фигура — это вице-консул перемахнул через перекладину, делившую кладбище на две половины, и оказался на монастырской земле.

Там он повел себя малопонятным, даже интригующим образом.

По-прежнему нисколько не таясь и, словно нарочно, передвигаясь все больше по освещенным луной местам, Эраст Петрович напрямик отправился к колодцу и отмерил расстояние, отделявшее монастырский источник водоснабжения от пепелища, что осталось на месте Мэйтановой кельи.

Затем точно таким же манером измерил дистанцию от павильона до сточной канавы и у сей последней задержался: поковырял палочкой почву, зачем-то насыпал немного в мешочек. Удовлетворенно сам себе кивнул.

После этого вернулся к месту, где Сигумо умертвил свою несчастную жертву, но никаких действий там производить не стал, а просто сел на траву и принялся чего-то ждать, время от времени поглядывая на карманные часы.

Прошло пять минут, десять, двадцать. Миновала полночь, объявив о себе глухими ударами церковного колокола, донесшимися с дальнего конца Иностранного кладбища.

На поляне ровным счетом ничего не происходило. Кроме, пожалуй, одного: вице-консула явно начинало клонить в сон. Он несколько раз зевнул, прикрывая рот ладонью. Голова опустилась на грудь. Эраст Петрович вскинулся, потер глаза, но минутой спустя опять заклевал носом — похоже, дремота становилась необоримой. Подбородок снова коснулся груди и больше уж не поднялся. Дыхание коллежского асессора сделалось глубоким и ровным.

Где-то на дереве громко заухала ночная птица, но Фандорин не проснулся. Не разбудила его и букашка, предпринявшая рискованное восхождение с ворота кимоно на волевой подбородок, а оттуда на щеку и высокий лоб Эраста Петровича.

Но стоило в ближних зарослях чему-то хрустнуть — совсем негромко, как вице-консул немедленно пробудился. Вскочил, в несколько стремительных прыжков преодолел расстояние, отделявшее его от кустов. Раздвинул ветки и обмер.

На суку старой узловатой яблони висела плетеная торба, в которой, слегка покачиваясь, сидела Эми Тэрада и смотрела на коллежского асессора широко раскрытыми, мерцающими глазами.

Эта зловещая картина заставила Фандорина, человека не робкого десятка, содрогнуться. — Вы?! — воскликнул он. — Вы?! Пигалица не ответила, лишь гневно оскалила белые зубки.

Коллежский асессор шагнул вперед и протянул руку, чтобы снять корзинку с ветви, но не успел — сверху ему на голову обрушился удар чудовищной силы, и Эраст Петрович без чувств повалился на траву.

Очнулся он от ноющей боли в темени, которая при этом была не лишена своеобразной приятности. Прежде чем открыть глаза, Фандорин попытался разобраться в природе этого странного ощущения — и разобрался. Резь смягчали и компенсировали два обстоятельства: холод и тепло. Причем холод обволакивал самый источник боли, лишая ее остроты, а тепло шло снизу, от затылка и шеи.

И лишь в следующее мгновение, разлепив тяжелые веки, коллежский асессор понял, что лежит на траве, в том же месте, где упал. Его голова покоится на коленях у сидящей Сатоко и обвязана мокрой холодной

тканью. Осторожно коснувшись пальцами темени, вице-консул обнаружил там изрядную шишку и наконец всё вспомнил.

«Что со мной случилось?» — хотел он спросить, но вдова Мэйтана нарушила молчание первой.

— Мне не спалось. Опять. Каждую ночь не могу уснуть, всё тянет к этому проклятому месту. Я пришла. Увидела на траве белое. Сначала подумала, вернулся муж. Но это были вы. Что с вами стряслось? На вас напал Сигумо?

Поняв, что Сатоко на его вопрос не ответит, Эраст Петрович сел, а потом и поднялся на ноги. Он понемногу приходил в себя. Ушиб, но сотрясения, кажется, нет, поставил он диагноз самому себе и о шишке больше не думал. Череп у дипломата был крепкий.

Приблизившись к яблоне, на которой давеча висела Эми Тэрада, коллежский ассессор внимательно рассмотрел сук, но никаких следов не обнаружил. Ветка была толстая, покрытая грубой корой. Ни царапины, ни примятых листьев.

— Вы перевязали мне голову... — сказал он, вернувшись к Сатоко. — Как это странно...

— Что странно?

— Всё. Здесь всё странно. Разумеется, никакой чертовщины, но очень уж всё по-японски...

— Никакой чертовщины? — переспросила она.

Фандорин сел на траву напротив Сатоко и заговорил с ней доверительным тоном, как с доброй знакомой, каковой вдова бывшего сослуживца, собственно, и являлась.

— Собаки у сточной канавы. Это раз. Ледяная вода в бочке. Это два.

— Что это значит? — напряженно сдвинула брови Сатоко.

— Послушника Араки удивило необычное поведение б-бродячих псов, которые струдились у сточной канавы и были очень возбуждены. Я сразу заподозрил, что туда слили кровь убитого. Уверен, что анализ почвы это подтвердит. — Эраст Петрович достал из широкого рукава маленький мешочек. — Если так, то, значит, никакого оборотня не было. И второе: Араки сказал, что вода в бочке была ледяной. Он вышел в сад на рассвете, то есть примерно через четыре часа после смерти Мэйтана. За это время вода до такой степени не остыла бы. Уж во всяком случае она не стала бы ледяной — сейчас лето, ночи теплые. Кто-то выпустил у Мэйтана всю кровь, потом вычерпал замутненную воду и вылил ее в сточную канаву, а взамен из колодца принес свежей воды, холодной. Мне оставалось лишь установить, кто это сделал.

— Тот, кто ударил вас сверху? — показала Сатоко на перевязанную голову вице-консула. — Но ведь вы не видели этого человека.

— Не видел, — пожал плечами Фандорин, — но догадаться нетрудно. Вон на том дереве, в некоем подобии люльки, висела госпожа Тэрада. Я был слишком ошарашен этим п-причудливым зрелищем, иначе непременно сообразил бы, что ее верный носильщик Кэнкити должен быть где-то неподалеку. К тому же он единственный, кто мог нанести мне удар сверху — ведь этот детина выше меня ростом.

— Тэрада-сан? — воскликнула Сатоко. — Так это она убила моего мужа?

— Ну что вы. Малютка Эми просто слишком любопытна. Услышав, что нынче ночью я собираюсь устроить охоту на Сигумо, она заранее заняла удобное место в б-бельэтаже. А Кэнкити набросился на меня, подумав, что я хочу причинить вред его обожаемой госпоже. Нет, Тэрада-сан здесь ни при чем. Хотя барышня она исключительно неприятная. Испорченная, капризная, злая, да и смотреть на нее, прямо скажем, удовольствие сомнительное. Не понимаю, почему вы с ней дружите?

— Я скажу, — ответила Сатоко, опустив голову. — Когда я вижу Тэраду-сан, мне становится легче... Моя Акико перестает казаться мне самым несчастным существом на свете... Но если это была не Тэрада-сан, то кто же?

— Вот это я и собирался выяснить. Для этого нужно было д-допросить смотрителя Иностранного кладбища. Его сторожка находится сразу за оградой. Судя по отечности лица и нервическому тикю, этот субъект наверняка страдает бессонницей. К тому же, как я понял из нашего с ним краткого диалога, мистер Сильвестер испытывает нездоровый интерес к соседнему владению. Характер у этого человека трудный, вряд ли он стал бы отвечать на мои вопросы, поэтому пришлось устроить маленькую демонстрацию. Собственно даже п-провокацию. Не буду утомлять вас подробностями, они несущественны. Главное, что сторож полностью удовлетворил мое любопытство. Предположения подтвердились. Да, это он неделю назад вывалил на крыльцо кельи Мэйтана ведро нечистот. Сильвестер — человек полупомешанный. У этого бывшего матроса навязчивая идея — прогнать с кладбищенского холма «идолопоклонников». Тринадцать лет назад, во времена смуты, на него напали ронины. Он спасся лишь тем, что успел вскарабкаться по водосточной трубе, однако острый клинок отсек ему ногу. С тех пор он люто ненавидит японцев и их «языческую» религию.

— Ах, я всё поняла! — прикрыла пальцами рот Сатоко. — Мой муж был для этого человека предателем. Сначала сторож попытался выжить его из сада, а когда не удалось, умертвил, воспользовавшись японской легендой! Он думал, что монахи испугаются и монастырь опустеет! Сторожу легко было

изобразить оборотня! Достаточно было укрыться с головой черной рясой, а сверху прикрепить плетеный тэнгай. То-то сквозь него просвечивала луна! А передвигался он так странно, потому что у него деревянная нога!

Фандорин выслушал вдову и покачал головой:

— Не с-складывается. Откуда невежественному матросу знать японские легенды? Он и язык-то побрезговал выучить. Нет, Сильвестер не убийца. Но, как я и предполагал, он видел убийцу, и даже дважды. Его мучила бессонница, он несколько раз выходил из сторожки покурить трубку, а убийце понадобилось немало времени на осуществление своего п-плана. К тому же, как вы помните, ночь была такая же лунная, как нынче.

— Кого он видел? — спросила Сатоко, не поднимая глаз.

— Вас, — так же тихо ответил Фандорин. — Кого ж еще? Сначала Сильвестер видел, как женщина в черном кимоно носила ведра к сточной канаве. А когда вышел в другой раз, незадолго перед рассветом, она носила воду от колодца к павильону. Я знал, что Мэйтана могли убить только вы. Но нужно было подтверждение.

— Знали? — повторила Сатоко, по-прежнему не глядя на молодого человека. — Откуда?

— Я не верю в п-привидения, и ваша история о безголовом монахе меня не убедила. Это раз. Вам очень легко было осуществить свое намерение: сначала опоить мужа сонным зельем, подмешанным в сакэ, потом проколоть ему артерию, а после этого оставалось лишь поменять воду в бочке. Когда я хвастался перед настоятелем, что выловлю «оборотня» нынче же ночью, мои слова адресовались вам. Вы должны были знать, что я слов на ветер не бросаю и, если говорю так уверенно, значит, обнаружил какие-то улики. Я не сомневался: вы непременно явитесь в сад, чтобы проследить за моими действиями... Я был готов к встрече, но меня сбила Эми. Это ведь она подала вам идею изобразить нападение Сигумо — когда, после инцидента с нечистотами, стала кричать об опасности, угрожающей Мэйтану?

Ответа не было. Проторчав на опущенной голове Сатоко казался неестественно белым. Фандорин даже наклонился, чтобы рассмотреть его получше, и увидел, что волосы крашенные — у корней они были совсем седые.

— Но две вещи остались для меня з-загадкой, — продолжил вице-консул после паузы. — Почему вы не убили меня, когда я лежал оглушенный и беспомощный? Вам ничего не стоило изобразить новое нападение оборотня. И второе: почему вы умертвили мужа?

Зная, сколь тверды характером женщины склада Сатоко, Эраст Петрович снова не ждал ответа. И ошибся.

— Я не убила вас, потому что вы не сделали мне зла, вы лишь выполняли долг по отношению к бывшему другу, — заговорила вдова сдавленным голосом. Сначала медленно, с запинкой, потом всё быстрее и быстрее. — Нет, неправда... Я хотела проткнуть вам горло заколкой. Уже подняла руку. Но не смогла. Не было ненависти... Я оказалась слишком слаба, и расплачиваться за это придется моей девочке. Я все-таки не смогла ее защитить.

— Я вас не понимаю, — нахмурился Фандорин. — При чем здесь Акико?

— Он хотел разлучить нас. — Сатоко резко подняла голову. Ее глаза горели сухим, яростным блеском. — Он сказал: «Нечего ее здесь держать. В Гонконге есть приют для детей-калек. Мы отправим ее туда, и она не будет больше стоять между нами. Я не стану буддой, я понял это. Я вернусь к тебе, и мы попробуем жить заново». Я умоляла его сжалиться, плакала, но он был непреклонен. «Ты ничего не понимаешь, — сказал он. — Так будет лучше для всех. Через неделю придет пароход из Гонконга, на нем будет монахиня из приюта». Я поняла: человек, который хотел, но не смог стать буддой, становится дьяволом. Моя Акико не нужна никому на всем белом свете кроме меня. Она обречена. Среди чужих людей она зачахнет. И тогда я сказала себе, что должна убить Мэйтана. Но убить так, чтобы никто меня не обвинил, иначе мою девочку отберут... Я сделала то, что собиралась, и упала, и лишилась чувств, и, наверное, умерла бы, но искусный лекарь вернул меня к жизни. Всё было зря. У меня не хватило сил вонзить вам в горло железную заколку, и теперь меня заточат в тюрьму, а моя дочь сгинет в приюте...

— Ну что, Эраст, поймал Паука Смерти? — спросил консул Вебер, встретившись со своим помощником у табльдота (оба дипломата были люди холостые и обыкновенно завтракали в «Гранд-отеле», по соседству с консульством).

Бледноватый после бессонной ночи Фандорин сконфуженно улыбнулся:

— Увы, Карлуша. Ты был прав: я попусту проторчал на этом чертовом кладбище всю ночь. Лишь выставил себя б-болваном.

— Стало быть, сто долларов мои. Впредь будешь слушаться советов начальства, — изрек консул, отправляя в рот ломтик ростбифа.

## Кладбище Грин-Вуд в Нью-Йорке Are you ok, или Оптимистичная смерть

Я не был уверен, что это правильное кладбище. Вроде бы старое, из тех, у которых всё в прошлом, однако смущали два обстоятельства.

Во-первых, сами размеры. Возможно ли, чтобы рядом с Манхэттеном, где земля, мягко говоря, недешева, сохранился исторический некрополь площадью чуть не в десять московских Кремлей?

Во-вторых, здорово напугал деловитый интернетовский сайт с рекламным зазывом: «Покупайте участки заранее, по нынешним ценам — это выгодное капиталовложение. Сколько бы вам ни было лет, разумнее позаботиться о месте упокоения прямо сейчас».

Приедешь туда, и увидишь у ворот очередь из катафалков, думал я. И тогда останется только развернуться и уехать — я ведь уже писал, что активно функционирующие фабрики смерти мне неинтересны, я тафодил, а не некрофил.

Но начало было обнадеживающим: ни один из таксистов о Грин-Вуде слухом не слыхивал, отправиться на поиски согласился только четвертый и потом долго плутал по невыразительным улицам, расположенным за Бруклинским туннелем.

А когда я увидел дивные готические ворота и зеленеющие за ними лесистые холмы, в воздухе явственно пахло Остановившимся Временем — ароматом, от которого у меня учащается пульс.

Катафалков я не видел — ни одного. Посетителей тоже, что и неудивительно: представьте себе город с шестисоттысячным населением, в котором все жители сидят по домам, да и в гости к ним мало кто ходит, потому что все, кто их знал, давно умерли.

Живописные пруды, рощи, лощины, плавные возвышенности. Кое-где попадаются разноцветные попугайчики — несколько лет назад сбежали из аэропорта Кеннеди и размножились на здешнем приволье.

Истинный элизиум, райский сад. Именно таким Грин-Вуд и замыслился. В эпоху, когда он возник, в европейских языках появилось новое слово — cemetery, cimetiere, cimitero, от изящного греческого «койметери-он», то есть «место сна». До девятнадцатого столетия смерть воспринималась западным человеком как ужасный порог, за которым лишь могильные черви да расплата за грехи. Для того чтоб было не так страшно, ложиться в землю следовало поближе к стенам церкви. Больших кладбищ не существовало — лишь маленькие погосты, лепившиеся к многочисленным храмам.

Но наступил Век Просвещения. Зародилось понятие санитарии — медики стали говорить, что город не может стоять на трупах, мертвых необходимо хоронить подальше от жилых кварталов, чтобы миазмы гниения не проникали в подземные источники вод. Чуть позже вошел в моду романтизм, который впервые со времен античности напомнил изысканному обществу, что смерть — это не только страшно, но еще и красиво. Возникла своего рода каменная поэзия надгробий, языка которой современному человеку без перевода уже не понять. Жителю 19 века памятники на могилах сообщали гораздо больше, чем нам. Изображение розы означало, что здесь похоронена девушка или молодая женщина. Обрубленная колонна — молодой мужчина, чьим чаяниям не суждено было свершиться. Две колонны — супружеская пара, которую даже смерть не смогла разлучить. Ягненок — невинное дитя. Бабочка — ранняя юность. Сноп колосьев — мирная кончина в преклонном возрасте, когда отходишь яко колос ко снопу. Все эти метафоры, конечно, печальны, но все же печаль — чувство совсем иного регистра, нежели животный страх смерти.

В человеческое сознание встроены антидепрессантный механизм, помогающий преодолевать ужас перед неизбежностью конца. В средние века эту роль исполняла глубокая, нерассуждающая вера в Вечную Жизнь. Когда же человек начал умничать, выискивать доказательства существования Бога (каковых, разумеется, не нашел, потому что вере доказательства не нужны), сформировалась новая концепция — смерти как возвращения в лоно природы. Несмотря на тысячи крестов, истинной религиозности в Грин-Вуде не ощущается. Просто в новом уважаемом квартале под названием «Afterlife» («Посмертное существование» — англ.), куда переселяется усопший, принято украшать дом христианской атрибутикой — там «так носят».

Именно в середине 19 столетия зародилось то отношение к смерти, о котором полтора века спустя Лев Лосев напишет:

Гробы изнутри здесь вроде матраса,  
с точки зрения местного среднего класса  
смерть — это красиво и как бы сон.

Грин-Вуд с самого начала создавался как парк, куда люди будут приезжать не столько по скорбной необходимости, сколько просто покататься, погулять, устроить пикник на траве. И заодно убедиться в том, что ничего такого уж страшного в смерти нет. Вон какое место славное, и вид отменный.

От Манхэттена отсюда всего три мили, а сообщение было удобное: четыре паромных линии через Ист-Ривер, омнибусы, наемные фиакры, извозчики. Кладбище быстро стало популярнейшим местом для прогулок. В 60-е годы 19 века его куши и аллеи ежегодно посещало полмиллиона человека. Соседство мавзолеев, усыпальниц, могильных крестов не портило гуляющим настроения и аппетита, не мешало флиртовать и веселиться. Атмосферу праздника, правда, могла подпортить похоронная процессия, но, завидев траурный караван, веселые компании просто уходили подальше, благо места хватало.

В те времена Грин-Вуд выглядел еще нарядней и ухоженней, чем теперь. Мрамор и бронза не успели померкнуть под воздействием дождя и снега, могилы были обнесены затейливыми коваными оградами (почти все они пошли на переплавку в годы последней войны), посреди каждого из четырех водоемов било по фонтану. Во всех книгах и статьях об истории кладбища непременно приводится цитата 1866 года из газеты «Нью-Йорк таймс»: «Мечта всякого нью-йоркца — жить на Пятой авеню, гулять в Центральном Парке и упокоиться в Грин-Вуде».

Учрежденный в 1838 году, бруклинский парк-некрополь уже через несколько лет начал приносить прибыль, что с новыми кладбищами случается редко.

Тактика устроителей была стандартной: сделать пиар за счет «звезд», а там потянется и массовый клиент. Победив в ожесточеннейшей конкурентной борьбе, Грин-Вуд добыл самого завидного из тогдашних нью-йоркских покойников — губернатора Де Витта Клинтона. Трофей, правда, был не первой свежести — великий человек скончался четвертью века ранее, но гроб извлекли из прежней могилы и с большой помпой перевезли на новое место. Паблсити было на всю страну, и после этого бизнес пошел как по маслу.

Успех был столь велик, что в разных городах страны начали появляться собственные некропарки с тем же названием — «Зеленый Лес».

Кладбище вступило в пору расцвета, можно сказать, стало главным кладбищем страны, и надолго, на целых сто лет — на то самое столетие, в ходе которого, собственно, и сложилась сверхэффективная химическая формула под названием «Соединенные Штаты Америки».

На Грин-Вуде присутствуют все ее исходные ингредиенты.

Первой из кладбищенских «звезд», поселившейся здесь еще раньше, чем губернатор Клинтон, стала представительница коренного населения Америки — дочь индейского вождя До-Хум-Ми, главная звезда великосветского сезона 1843 года. Бедняжка простудилась и умерла, провожаемая в последний путь стуком бубнов и завываниями своих соплеменников. Те хотели увезти покойницу в родные прерии, но владельцы Грин-Вуда то ли упросили, то ли подкупили краснокожих, и кладбище обзавелось своей первой знаменитостью. Ее белокаменное надгробье высечено Робертом Лауницем, самым плодовитым из грин-вудских скульпторов (и, между прочим, петербургским уроженцем).

Следующую по хронологии генерацию американцев представляет Уильям Пул (1821–1855), потомок первых переселенцев и предводитель ксенофобской партии (а точнее шайки) «Природных американцев». Эта колоритная фигура недавно приобрела всемирную известность благодаря голливудскому блокбастеру «Банды Нью-Йорка». Билл-Мясник был знаменитым драчуном, искусным метателем ножей и лютым врагом ирландских иммигрантов, за что и получил от одного из них пулю в сердце. Изумляя врачей, богатырь боролся за жизнь целых две недели и испустил дух со словами «Я умираю настоящим американцем».

Вторые переселенцы, которые, в отличие от первых, приплыли в Америку не добровольно, а скованные цепями, в прежние времена могли попасть на чопорный Грин-Вуд лишь в порядке исключения, но, на счастье нынешних попечителей, на кладбище имеется-таки чрезвычайно политкорректная знаменитость: Сьюзен Смит Мак-Кинни-Стюард (1846–1918), первая чернокожая женщина-врач города Нью-Йорка.

Главное событие американской истории 19 столетия, Гражданская война, совпало с золотым веком Грин-Вуда, украсив его множеством памятников, барельефов и героических эпитафий. Генералы обеих враждующих армий представлены здесь в таком неисчислимом изобилии, что даже образовалась местная достопримечательность: могила Элизабет Хамилтон. Эта дама побывала замужем сразу за двумя видными военачальниками Северной армии и покоится между обоими своими супругами, на одинаковом расстоянии от одного и от другого.

Некрополь напоминает выставку достижений американского хозяйства: то и дело попадаются знакомые имена, которые сегодня ассоциируются уже не с живыми людьми, а с фирменными названиями и брендами. Но на Грин-Вуде убеждаешься — все они, внесшие свою лепту в величие Америки, действительно существовали: человек-телеграф Морзе, человек-тюбик Колгейт, человек-пишмашинка Ундервуд, человек-пианино Стейнвей, человек-ластик Фэйзер, человек-безделушка Тиффани.

Еще из каких клише состоит Америка?

Из шоу-бизнеса? Спорта? Адвокатуры? Мафии?

Эти классические разновидности Homo Americanus представлены здесь, что называется, в ассортименте. Не стану перечислять всех грин-вудских «звезд», довольно будет по одному имени из каждой категории. Писать о таких судьбах хочется крикливым языком газетных заголовков — вроде тех, что

сопровождали этих людей при жизни.

Итак, шоу-бизнес:

### **Женщина — которую преследовали несчастья**

Кейт Кларкстон (1852–1924) была известнейшей актрисой своей эпохи, американской Ермоловой. Ее личная жизнь являла собой сплошную череду потрясений: сын покончил с собой, муж втайне от нее женился на другой актрисе, но репутацию женщины, навлекающей беду, Кейт заработала еще прежде того, в ранней молодости. Она была на сцене Бруклинского театра, когда там начался ужасный пожар, унесший 278 жизней. Сама актриса спаслась чудом, сильно обгорев и едва не повредившись рассудком. Вскоре после этого сгорела гостиница, в которой она остановилась во время гастролей, — и с тех пор суеверные и малодушные зрители стали избегать спектаклей с ее участием.

Спортсмены:

### **Сорвал резьбу**

Первая звезда бейсбола Джим Крейтон (1841–1862) был известен как «человек-винт».

Это он изобрел крученую подачу, а, отбивая мяч, «завинчивался» таким невообразимым образом, что все только диву давались. Однажды в момент удара раздался странный треск, словно лопнул ремень. Мяч был отбит на славу, Джим обежал полный круг по площадке — и вдруг упал замертво: оказалось, что он порвал себе мочевого пузыря.

Адвокаты:

### **Роковая случайность**

Америка — страна, которую создали (и, должно быть, когда-нибудь погубят) адвокаты. Это их безраздельная вотчина. На Грин-Вуде похоронен великий и ужасный Уильям Хоу (1821–1900), виртуознейший из судебно-процессуальных краснобаев и крючкотворов. Он специализировался на «особо тяжких», причем состоял на постоянном жаловании у нью-йоркских воров и грабителей. За свою адвокатскую карьеру Уильяму довелось защищать 650 убийц. Его выступления были выстроены по всем правилам драматического искусства, особенно удавались мэтру скупые мужские слезы. Шедевром его ораторского искусства была речь, убедившая присяжных, что обвиняемая произвела шесть выстрелов подряд «по чистой случайности».

Гангстеры:

### **Бриться нужно дома**

Итальянец с нежной фамилией Анастасия (1903–1957) был боссом знаменитого синдиката «Мёрдер инкорпорэйтед», бравшего заказы на убийства и выполнившего в общей сложности около 500 «контрактов». При этом за свою долгую карьеру Альберто Анастасия попался с поличным только однажды. Полтора года просидел в камере смертников, но потом адвокаты добились пересмотра дела, и во время повторного процесса обнаружилось, что четверо ключевых свидетелей обвинения пропали без вести... Погубила Анастасию привычка бриться в парикмахерской. Именно там, в кресле, с намыленной физиономией, его и изрешетили киллеры, подосланные коварным Вито Дженовезе.

При всей причудливости своих биографий эти четверо гринвудцев безусловно относятся к разряду «типичных представителей». Однако среди обитателей кладбища есть такие, чья судьба поражает воображение, потому что *такого просто не бывает*.

Больше всего мне хотелось посмотреть на могилу самой знаменитой (вернее, самой скандальной) женщины 19 века Лолы Монтез (1821–1861). Я знал расположение участка и номер могилы, но так ее и не нашел. Это меня не очень удивило — в глубине души я подозревал, что никакой Лолы на самом деле не было, что ее выдумали газетчики и беллетристы. Недолгая жизнь этой хрестоматийной *femme fatale* слишком театральна, в ней слишком много роковых любовей и великих любовников, невероятных взлетов и сокрушительных падений. В самом деле, возможно ли, чтобы обыкновенная ирландская девчонка за несколько лет успела побывать возлюбленной Листа, Бальзака, Дюма-отца, Николая Первого, звездой

эротического танца, фавориткой баварского короля Людвига (и правительницей его страны), баронессой и графиней, спириткой, причиной одной революции, нескольких судебных процессов и множества дуэлей? Она курила сигары, разгуливала с белым попугаем на плече, с легкостью меняла страны, континенты и подданства. Ее любимой присказкой было: «Когда Лола чего-то хочет, она идет и берет». Ее скандальная карьера закончилась к тридцати годам. Она была вынуждена покинуть Старый Свет, в Новом не преуспела и умерла, всеми покинутая, едва достигнув сорока. Неудивительно, что я не нашел ее могилы. Как выяснилось потом, на камне значится не эффектное «Лола Монтес» и не аристократичное «графиня фон Ландсфельдт», а заурядное имя, с которым женщина-вамп появилась на свет: Элиза Джилберт.

Еще одна загадка Грин-Вуда, будоражившая воображение современников, — Молли Фэнчер (1846–1916). В двадцать лет, после несчастного случая, который теперь отнесли бы к категории ДТП, она оказалась полностью парализованной и впала в кому. Последующие полвека, до самой смерти, провела в постели, без сознания, но при этом шепотом отвечала на вопросы. Она видела, что происходит за стенами ее комнаты, могла прочесть запечатанное письмо, предсказывала пожары и прочие несчастья. Одни называли ее шарлатанкой, другие говорили, что мисс Фэнчер повисла между миром живых и миром мертвых и поэтому ей открыто больше, чем обычным людям. Мне больше нравится вторая гипотеза.

Как всякое почтенное кладбище, Грин-Вуд хранит в своих анналах некоторое количество душераздирающих историй на тему «Любовь и Смерть». В трагедиях этого рода содержится некий консервант, делающий их неподвластными времени. Драма оборванной любви одинаково волнует и современников, и потомков. Может быть, оттого что всё истинно печальное красиво?

Бедный Теодор Рузвельт. 14 февраля 1884 года на него обрушился страшный удар. В один и тот же день по трагическому стечению обстоятельств он лишился сначала жены, а через несколько часов и матери. «Свет погас. Моя жизнь кончена», — написал он в дневнике. Так, собственно, и произошло. Впоследствии Рузвельт стал полицейским, солдатом, министром, самым молодым в истории США президентом, но он никогда больше не произносил имени своей первой жены, потому что она осталась в прежней, закончившейся жизни.

Самая известная из грин-вудских любовных трагедий не по-американски романтична. К готическому монументу Шарлотты Канда (1828–1845) водят экскурсии и сегодня, а в 19 веке сюда устраивались настоящие паломничества. Дочь бывшего наполеоновского офицера погибла в день своего 17-летия: понесли лошади, испугавшиеся грома, карета перевернулась. Безутешный отец потратил целое состояние на памятник. Роковое число 17, погубившее девушку, присутствует повсюду: высота обелиска 17 футов, склеп под ним 17-футовой глубины, на каменном щите 17 роз. А чуть поодаль, на неосвященной земле, стоит скромное надгробие жениха Шарлотты — Шарля, застрелившегося ровно год спустя в ее доме. История красивая, но какая-то не американская. Она больше подошла бы парижскому Пер-Лашез. Что поделаешь — французы.

Лично на меня куда более сильное впечатление произвел наивный барельеф на памятнике Джейн Гриффит (1819–1857). Ничего романтического: обычная женщина, умерла от сердечного приступа. Скульптор запечатлел миг ее расставания с мужем. Они прощаются на ступеньках своего уютного дома. Он уезжает по каким-то обыденным делам (в углу изображен ожидающий омнибус), Джейн вышла его проводить. Я перевидал много скорбящих ангелов и трогательных эпитафий, но не знаю ничего пронзительней этого памятника безвозвратно ушедшему счастью.

Кладбище есть кладбище, место скорби, сколько его ни драпируй кущами и дубравами. Крепкие же были нервы у пикникующих, если соседство с надгробием Джейн Гриффит не портило им аппетита. А впрочем, ньюйоркцев 19 столетия не пугала и собственная могила. Богатый человек Уильям Ниблоу (1789–1875) выстроил себе мавзолей еще при жизни, разбил вокруг него сад, вырыл пруд, развел там карпов и много лет подряд устраивал у места своего будущего упокоения званые гарден-парти. И это было не чудачество, а довольно распространенная практика. Некий капитан Корреджа (1826–1910) поставил себе на заранее купленной могиле памятник из каррарского мрамора: будущий покойник изображен в полный рост, в фуражке, с секстантом в руке. Скульптура была изготовлена за полвека до кончины моряка, так что к моменту похорон успела покрыться благородной патиной.

Именно таковы *настоящие* грин-вудские захоронения: добротные, оплаченные не в момент необходимости, а заранее, по спеццене — этикие выгодные инвестиции в будущее. На кладбище, разумеется, есть и клиенты Внезапной Смерти — жертвы войн, катастроф, несчастных случаев и преступлений, но явное первенство не за бурной, а за спокойной смертью, не за розой или обрубленной колонной, а за колосом, отходящим ко снопу.

Грин-Вуд — территория запланированной смерти, первая ласточка пресловутого *positive thinking* (позитивное мышление — англ.), того самого американского оптимизма, который так раздражает иностранцев. Для жителей Нового Света очень важно, чтобы у них всё было тип-топ — даже если дело принимает скверный оборот. Эта экзистенциальная установка зафиксирована и на уровне идиоматики. Сколько раз мы видели в голливудских фильмах, как один герой наклоняется над другим (а тот весь

израненный-переломанный) и спрашивает: «Are you okay?» — хотя слепому видно, что тот никак не может быть okay, и по-нашему следовало бы причитать: «Господи, какой ужас! Что они, гады, с тобой сделали!» Но первый не станет причитать, а второй мужественно ответит: «I'm fine». Потому что оба настоящие американцы, оба мыслят позитивно. Кого-то, знаю, от этой позитивности с души воротит, а мне, пожалуй, она нравится. Не ныть, не давить на жалость, не навязывать другим свои проблемы. Чем плохо? Пожалуй, даже красиво. I'm fine, говорит умирающий герой — и мы его теряем.

Оптимисты позапрошлого века, гулявшие и устраивавшие пикники среди гробов, были носителями истинно американского пионерского духа. Они пробовали освоить владения Смерти точно так же, как осваивали просторы Дикого Запада: построить там удобные дороги и дома, сделать мертвую пустыню пригодной и даже удобной для обитания. Эти принципиальные позитивисты пытались цивилизовать не только свой мир, но и негативистские владения Смерти. Чего нам Ее бояться, будто спрашивают пышные мавзолеи и умеренные памятники. Мы честно жили, честно работали и вправе рассчитывать на подобающее воздаяние. Не может быть, чтобы Будущая Жизнь нас разочаровала, это была бы unfair play (нечестная игра — англ.).

Ар ю о'кэй? — спрашивает через воды Ист-Ривера силуэт Манхэттена, небоскребы которого, потеряв двух своих товарищей, сомкнулись плечо к плечу, так что у них теперь всё снова в полном порядке.

Ай'м файн, отвечает кладбище Грин-Вуд. Всё будет олл райт.

## Unless

Актуально всё это началось еще в пятницу вечером. Миш сказал своей жене:

— Дарлинг, я сделал аппойнтмент на завтра. Ну, ты знаешь. В Грин-Вуде. Я тебе говорил.

Дороти спорить не стала, лишь немножко поморщилась. Для современной женщины она имела сорт странного предубеждения против всего, что касалось послежизни и ее обустройства.

— Как хочешь, Миш, это твоё решение, — сказала Дороти, и только.

Вообще-то его имя было Миша, а коллеги и знакомые звали его Майком, но однажды, еще в первый год супружеской жизни, Дороти услышала, как клиент говорит: «*Mish, nucho ty kak etot. Za shto ya te, Mish, babki plachu...*» Слов, конечно, не поняла, но обращение ей понравилось. Так он у себя в семье и превратился из Миши в Миша.

Он был абсолютно счастливый человек, каких в Америке, согласно опросам паблик опинион, насчитывается тридцать восемь процентов плюс сорок четыре процента просто счастливых. Но в случае Миша это была не дань национальному оптимизму. Он был действительно очень счастлив. Верный признак настоящего счастья, это когда у тебя всерьез портится настроение из-за плохой погоды. Или едешь в своей машине, и вдруг зазвонил мобайл, а ты забыл его вынуть из кармана своего пиджака, и вот извиваешься в сейфити-белтс, а на тебе сверху еще плащ, а мобайл звонит-звонит, и вдруг перестал, и ты из-за этой ерунды наполняешься раздражительностью часа на два. Потому что ничего хуже скверной погоды и пропущенного звонка в твоей жизни не случается.

Именно так существовал Миш.

Родители увезли его из Ленинграда в Америку, когда он был в самом правильном возрасте: русский язык уже не забудет, а английский освоит, как родной, так что Миш получился полностью билингвальный. Окончил law school — не из шикарных, но для его специализации Гарвард и не требовался.

У себя в фирме Миш был высококвалифицированным специалистом очень узкого профиля. Он добывал зеленые карты для граждан СНГ. Никаких тяжелых случаев, никаких беженцев и нелегальных нарушителей границы — только обеспеченные джентльмены, которые желают обезопаситься на случай неприятностей у себя на родине или иметь второй дом в Калифорнии либо во Флориде. Клиенты Миша жили в Москве, Киеве или каком-нибудь Ханты-Мансийске, в Нью-Йорке появлялись часто, но ненадолго и, когда заезжали, останавливались в лучших номерах очень дорогих гостиниц. Услуги лойера оплачивали не торгуясь и давали хороший бонус за срочность.

Все коллеги, в том числе выпускники Гарварда, завидовали Мишу. Миш был на отличном счету у начальства и зарабатывал на семьдесят пять процентов больше среднего дохода, нормального для юриста такого возраста и бэкграунда — и это без необходимости погружаться в чужие жизненные драмы, без клиентского вампиризма и каких-либо процессуальных сложностей.

У Миша был отличный дом в Нью-Джерси, на берегу Хадсона, уже почти выплаченный, удачная жена Дороти и славный сынишка с русско-американским именем Колин. Через два года планировалось завести и дочку, но не рожать, а удочерить, потому что появление Колина обошлось слишком дорого для физической формы Дороти. Супруги пока не договорились, где именно взять ребенка. Жена предпочитала Гаити, там можно найти милую цветную девчущечку, не совсем черную, а цвета кофе со сливками. Это современно и вообще правильно, со всех точек зрения. Миш не спорил, что это современно и правильно, но ему хотелось

белобрысенскую. Один московский клиент обещал подействовать с удочерением, *provernut bez volynki*, но жене Миш об этом пока не рассказывал, приберегал козырь в рукаве до решающего разговора.

Миш верил, что жизнь нужно планировать. И в своем нынешнем, по современным понятиям, совсем еще молодом возрасте распланировал собственное будущее во всех подробностях, даже до составления сорта хронологической таблицы.

Выглядела таблица так.

В 2006 году удочерить малютку 10–12 месяцев от роду. Это будет идеальная разница в возрасте с Колином, так утверждают специалисты. Тогда старший брат будет не обижать сестренку, а защищать ее, что полезно для обоих детей.

В 2008 будет сполна выплачен дом, а это значит, что уже можно брать мортгидж на пентхаус где-нибудь на восточных 70-х с видом на Сентрал-парк.

В 2010 окончательно переселиться на Манхэттен, а дом в Нью-Джерси перевести в разряд кантри-хауса.

Примерно в 2015 Миша должны сделать младшим партнером в фирме.

В 2020 — старшим, а если не сделают, то он откроет собственную фирму.

В 2024 — досрочно расплатиться за пентхаус, продать недвижимость в Нью-Джерси (которая, по расчетам Миша, к тому времени вырастет в реальных ценах на 300–350 процентов) и начать присматривать хороший истейт для жизни после ритайрмента. На море. Может быть, в Европе, если она к тому времени окончательно не испортится. Или в Новой Зеландии — аналитики считают, что во второй четверти 21 века именно там будет правильное место для жизни на покое.

На 2035 год Миш запланировал ритайрмент. Чтобы еще осталось сил и здоровья пожить в свое удовольствие на своем истейте, попутешествовать, поиграть в гольф.

Единственное, что не поддавалось точному прогнозированию, — момент перехода в мир иной. Предположительно это должно было случиться где-то не ранее 2045 года и вряд ли позднее 2060-го. Событие, без сомнения, печальное, но неизбежное, а значит, и к нему лучше было подготовиться заранее. Миш изучил рынок и пришел к заключению, что оптимальный вариант — кладбище Грин-Вуд, которое сейчас несколько вышло из моды, но к середине столетия почти наверняка снова станет самым горячим местом для обретения последнего пристанища. Можно не сомневаться, что земля там будет на вес золота, а сейчас участок под фамильный склеп можно взять всего за 4999 долларов.

В общем, если изложить длинную историю коротко, в субботу с утра Миш сел за руль своего новенького кабриолета «би-эм-даблью» и покатил через Верадзано-бридж в Бруклин.

Переговоры с мэнеджером прошли отлично, Мишу удалось получить хорошую скидку и опши на выбор любого из трех вакантных участков, находящихся внутри согласованного денежного диапазона. Мэнеджер советовал брать землю в 49-м дистрикте, где недавно провели ландшафтную реновацию и высадили восемьдесят вязов — через пятьдесят лет они как раз войдут в хороший возраст. Но Миш привык делать свои выборы сам, без подсказок, и поехал смотреть. От провожатого отказался, взял схему кладбища.

18-й дистрикт, ближе всего расположенный к воротам, ему не понравился. Зато 49-й сразу пришелся по душе. Миш уже решил, что возьмет эту недвижимость, но по природной обстоятельности или, если употребить забавную идиому из русского языка, *dlya ochistki sovesti*, все же поехал и на отдаленный 26-й.

Медленно катил на своем кабриолете по аллеям, сверялся по карте. Вокруг не было ни души. Небо потемнело, дохнуло сыростью, и сверху засочился дождик. С каждой секундой он становился сильнее. Пока «би-эм-даблью» поднимал свою крышу, капли забрызгали Мишу очки и намочили волосы, отчего настроение у баловня судьбы сразу испортилось.

Вдруг, совсем близко от дорожки, он увидел женщину. Стройную, в элегантном брючном костюме, в шляпке с вуалью. Не обращая внимания на дождь, она стояла у одного из надгробий. Потом грациозно наклонилась, и стало видно, что в руке она имеет букет лиловых цветов, названия которых Миш не знал, потому что совсем не обладал знанием ботаники.

Женщина отделила от букета один цветок, бережно положила на могилу, распрямилась и вышла на аллею.

Тут как раз с ней поравнялся Миш на своем прикрывшемся от дождя кабриолете.

Как того требовали правила приветливости, Миш притормозил и сказал:

— Вы промокнете насквозь. Садитесь, я подвезу вас. Мне нужно на 26-й дистрикт, а потом я подброшу вас до ворот.

— На 26-й? — переспросила она. — А мне на 25-й, это рядом. Высадите меня там, а к воротам мне не нужно.

У нее был легкий акцент, но сразу не определишь, какой именно. В Нью-Йорке столько всяких акцентов. Такого, с придыханием и вспархивающей в конце фразы интонацией, Мишу слышать не доводилось.

Поехали. По правилам приветливости, женщине следовало бы щебетать без умолку, благодаря Миша за

его консидерацию, но женщина молчала. Миш искоса посмотрел на нее. Стильная штучка. Из тех, кто много о себе понимает. Нью-Йорк полон представительниц этого биологического вида. Привыкла, что мужчины на нее пялятся. Но Миш уже миновал возраст сексуальной экспансии, никто кроме Дороти ему был не нужен. Он стал смотреть вперед, на дорогу.

Однако ехать и молчать было странно.

— Я видел, вы были около могилы... — полувопросительно сказал он, чтобы, если ей не хочется отвечать, она могла просто кивнуть.

Ее ответ был полнее, чем он ожидал:

— Да, там похоронен человек, которого я любила.

Сказано это было спокойным, даже рассеянным тоном. Миш снова скосил взгляд. Женщина сидела полутвернувшись, смотрела в окно.

— У меня здесь много дорогих людей, — продолжила она и вздохнула — печально, но не так чтобы очень. Так говорят о тех, кто умер давно, и скорбь успела притупиться. — Я навещаю их каждый день.

Надо же, каждый день, подумал Миш. Это объясняет, почему она положила только один цветок, иначе, как говорила покойная бабушка, *deneg ne napasyoshsya*.

Раздался металлический шелчок — это женщина зажгла тонкую сигарку с золотым ободком.

— Простите, — быстро сказал Миш. — Но моя жена и сын не любят, когда в машине пахнет табаком. Я вынужден просить вас...

Он опустил стекло с ее стороны.

Но женщина не выбросила сигару, а, наоборот, выпустила струйку пряного дыма и повернула свою голову к Мишу. Ее глаза через вуаль насмешливо блеснули.

— А если я за это заплачу? — засмеялась она. — Не деньгами. Я погадаю вам по ладони.

И сделала довольно странную вещь — не дожидаясь разрешения, сняла с руля его правую руку. Пальцы у нее были очень горячие, это ощущалось даже через перчатку.

Выдернуть руку было бы невежливо, поэтому Миш делать этого не стал. К тому же, быть откровенным, он растерялся — несанкционированный телесный контакт в его кругу был редкостью.

— Вы проживете еще сорок девять лет... Да, сорок девять... — Женщина говорила медленно, время от времени потягивая сигару. Странно только, что смотрела она при этом не на ладонь Миша, а ему в глаза.

Он кивнул — эта цифра примерно совпадала с его собственными прогнозами.

— Похоронят вас в Грин-Вуде...

Он снова кивнул. Эта дедукция его не впечатлила. Если встречаешь человека на кладбище, резонно предположить, что у него здесь семейный участок или что-то этого сорта. Во всяком случае, это догадка хорошей вероятности.

— ...На 49-м участке, моем самом любимом, — сказала женщина, и Миш был вынужден схватиться за руль обеими руками — машину дернуло в сторону, такая с ним произошла произвольная реакция.

— Откуда вы знаете?! — воскликнул он.

Она снова взяла его ладонь и теперь взглянула на нее.

— Здесь так написано... Да, на 49-м, никаких сомнений. И что через 49 лет, тоже несомненно... Unless... (Если только не... — англ.) — Тут она встрепенулась и огляделась вокруг. — Ах, это 25-й! Остановите!

Миш рефлекторно нажал на тормоз, и она вышла. Не попрощалась, не поблагодарила. Шла к отдельно стоящему мраморному обелиску, на ходу отделяя от своего букета цветов.

— Что unless? — спросил Миш, высунувшись из машины, но не очень громко, потому что на кладбище громко говорить не полагается.

Она не услышала.

Тогда он пожал плечами и поехал дальше.

Дождь закончился. В салоне пахло сигарой и лиловыми цветами — запах был приятный, но какой-то нервный.

Как и следовало ожидать, вариант на 26-м оказался дрянь, с 49-м не сравнить, поэтому Миш вернулся в контору и подписал предварительный контракт.

Вернувшись домой, сообщил жене — та кивнула и заговорила о другом.

А в воскресенье утром, неожиданно для самого себя, Миш сказал:

— Знаешь, Дороти, я думаю, я съезжу туда еще раз, посмотрю. — И пошутил. — Как-никак нам с тобой там бичевать до Судного Дня, а это сверхдолгосрочный инвестимент.

Выехав на вчерашнюю аллею, сбавил скорость до пяти миль. Вертел головой, высматривая свою вчерашнюю спутницу. Сделал один круг, второй. Уже решил было, что ее слова о каждодневном посещении кладбища были преувеличением, но тут заметил знакомый тонкий силуэт: шляпка с вуалью, брючный костюм — не такой, как вчера, но не менее элегантный. Сегодня женщина была с бархатным, расшитым

блестками саком.

Она стояла возле узкого памятника, опустив голову. На звук остановившейся машины не обернулась.

Миш вышел, приблизился.

Памятник был необычный — ни имени усопшего, ни дат. На темно-красном мраморе лишь изображение игральной кости, повернутой шестеркой, причем пять точек черные и лишь одна белая.

Миш был так удивлен дизайном обелиска, что спросил не о том, о чем собирался:

— Кто это?

(А хотел спросить: «Что означало ваше вчерашнее unless?») Затем и на кладбище приехал.)

Женщина обернулась. Не показала никаких признаков удивления.

— О, это был блистательный мужчина. Я его очень любила. Настоящий, природный донжуан.

— Он был гэмблер? — Миш смотрел на игральную кость. — Отчего он умер?

— Отравился десертом.

Миш не понял смысла ответа. Вероятно, это было иносказание или черный юмор. На всякий случай сказал:

— Упокой Господь его душу.

— Сомневаюсь, что эта душа упокоилась, — задумчиво сказала женщина. — Тот, кто живет на свете ради того, чтобы разбивать сердца, не обретает покоя. Эта страсть сильнее смерти. О, это был истинный мастер, просто я оказалась ему не по зубам. — И прибавила. — Вот бы встретить его вновь...

От мечтательности, прозвучавшей в ее голосе, Миш испытал нечто похожее на ревность — эмоцию, которой не испытывал со времен хай-скула.

— На 13-ый, к пруду, — сказала женщина, без приглашения садясь в машину.

Ее повелительный тон был странен. Еще удивительней, что Миш безропотно повиновался.

Аллея поднялась на холм. Из-за верхушек деревьев вылезла щетина Манхэттена.

— Вы живете в одном из тех высоких домов? — спросила женщина.

— Нет, но я работаю в одном из них. Мой офис на 41-м этаже.

— А балкон там есть?

— Для курящих. Иногда я выхожу туда, чтобы посмотреть сверху на город.

— И вам ни разу не хотелось взять и просто так, безо всякой причины, перемахнуть через перила?

— Боже, ради чего?! — поразился Миш.

Она посмотрела на него, немножко наклонив голову:

— Всем мужчинам, если они мужчины, иногда этого хочется. И вам тоже хотелось, я это вижу. Иначе я не села бы к вам в машину.

Он пожал плечами, не желая продолжать такой бессмысленный разговор. И вдруг вспомнил. Это было три года назад, еще до рождения Колина. Они с Дороти устроили себе праздник — купили трехдневный круиз по Карибскому морю. Жена была в ванной, прихорашивалась перед ужином. Миш стоял на терраске, смотрел на золотистое предзакатное море. Всё было отлично. Но внезапно он посмотрел вниз и до боли в суставах вцепился в перила — так ему захотелось перекинуть через них свое тело, пролететь по воздуху с двенадцатой палубы, а потом плашмя удариться о воду. Не то чтобы захотелось, а представилось, как он это делает. Дороти выйдет из ванной, а его нет. Подумает, что он на палубе. Но его не будет на палубе. Его вообще больше нигде не будет. И его исчезновение для всех останется загадкой. Навсегда. Такая возникла у Миша дикая фантазия под воздействием морского воздуха и двух послеобеденных коктейлей.

Но откуда об этом могла знать женщина в вуали? Он и сам-то про свой мимолетный суицидальный импульс давным-давно забыл.

— Здесь. Остановите, — велела она.

Могила была совсем старая, со стершимися буквами и съехавшим набок крестом. Лет сто ей было, а то и больше.

Не выдержав, Миш спросил:

— А тут-то у вас кто?

— Славный юноша. Я его очень любила. Он вызвал на дуэль одного бретера, который неуважительно обо мне отозвался. Бедный мальчик совсем не умел стрелять. Лучше бы вместо него на поединок пошла я. Я попадаю в серебряный доллар с двадцати шагов.

И положила на камень лиловый цветок.

Только теперь в голове у Миша наконец рассвело: это же ментально расстроенная женщина, никаких сомнений на этот счет. А он-то, дурак, *ushi razvesil*.

— Извините, — сказал Миш, пятясь, — но мне пора.

И пошел к своему «би-эм-дабью», что в данной ситуации было единственно правильным выбором.

Тогда она спросила:

— Как, разве вы не хотите узнать, что означает unless?

Миш сделал три ошибки. Во-первых, заметно вздрогнул (ну, это еще ладно); во-вторых, остановился (большая ошибка!); в-третьих, обернулся (и это уже была ошибка непоправимая!).

Потому что он не только обернулся, но еще и взглянул на женщину, а как раз в это мгновение из-за облаков выглянуло солнце, и черные волосы ненормальной полыхнули золотым отливом, глаза замерцали под вуалью, губы влажно заблестели.

С дерева, полоща крыльями, слетел пестрый попугай и сел женщине на плечо. Увидев это, Миш сначала подумал, что тоже сошел с ума, но сразу же вспомнил, как читал в газете про грин-вудских попугаев. Что-то про случайно открывшуюся клетку с пернатыми из Южной Америки.

Солнце совсем вышло из-за облака и стало светить ему прямо в глаза, так что Миш был вынужден зажмуриться. Он теперь не видел женщину с попугаем на плече, но зато явственно, как на дисплее, увидел свое замечательное, идеально спланированное будущее: пентхаус с окном во всю стену; покачивающуюся на волнах собственную яхту; поле для гольфа; полумрак финального альцгеймерного десятилетия, неизбежного при крепком (благодаря холестеринсвободной диете) сердце. И так ему сделалось тошно, что впору антидепрессантную пилюлю принимать или, как говорила бабушка, *hot v omut golovoi*.

Женщина кивнула:

— Именно так всё и будет. А через сорок девять лет сюда, в Грин-Вуд. Unless... Если только вы сейчас не сделаете шаг мне навстречу. Один шаг.

Следует признать: она не протянула ему руки, не улыбнулась зазывно — о нет. Просто стояла и выжидающе смотрела.

Миш сделал этот шаг сам.

Она то ли спросила, то ли подсказала:

— Вы, должно быть, хотите меня поцеловать? И он понял, что да, да, именно этого он хочет больше всего на свете.

— Мой поцелуи нужно заслужить.

Она достала из сака револьвер — никелированный и украшенный инкрустацией, но с широким, страшным стволом. Сразу было видно, что это не дамская игрушка, а оружие смерти.

Испугаться Миш не успел, потому что женщина сразу повернула оружие рукояткой вперед. Откинула барабан, и стало видно, что там только один патрон, остальные пять гнезд пусты. Защелкнула обратно, покрутила, приставила к виску. Попугай потрогал клювом сверкающее дуло.

— Цена поцелуя, — сказала женщина, протягивая револьвер Мишу. — Без этого никак. Я должна убедиться, что вы не трус.

Now kitschy (какой китч — англ.), мелькнуло у него в голове. Русскорожденный адвокат играет в русскую рулетку. Да и что такое поцелуй? Сокращение губных мышц, сопровождаемое усиленной работой слюнных желез и приливом крови в область гениталий. Ради такого пустяка рисковать жизнью?

Женщина умела читать мысли, это наверняка. Она сказала:

— О, вы не знаете, что такое настоящий поцелуй.

Облизнула губы кончиком языка, и они внезапно заалели так, что больно смотреть.

— Смотрите, это сушья ерунда.

Она приставила ствол к своему виску и, прежде чем Миш успел схватить ее за руку, спустила курок.

Раздался звонкий, не неприятный щелчок.

Попугай вспорхнул с ее плеча, перелетел на ветку.

Женщина улыбалась, глядя на Миша.

Что за ад, ударило ему в голову, пять шансов против одного. Да и вообще, можно держать пари, что револьвер бугафорский.

Он выхватил у нее оружие, круганул барабан и скорее, пока не включились рациональные регуляторы, нажал на спуск.

— Bravo, — сказала женщина. — Даже не закрыл глаз. Обычно зажмуриваются.

Последовал поцелуй — если это можно было назвать поцелуем. Миш не имел идеи, что поцелуи бывают такими. Мир будто перевернулся, причем в буквальном смысле: зеленая трава и кресты вдруг оказались у Миша над головой, а небо внизу, и он стоял прямо на облаке, и оно пружинило под ногами.

Пока он приходил в себя — хватал губами воздух, хлопал глазами и так далее, женщина ловко подкрасила губы.

— Это был аперитив, — объявила она, спрятав зеркальце. — Дальше следует закуска. Цена двойная. — Пальцы с пурпурным лаком на ногтях ловко вставили в гнездо один патрон, второй. — Не угодно ли? — Женщина снова протягивала револьвер. — Потом я предложу вам суп. Цена — три патрона, но обещаю, что ничего вкуснее вы не пробовали. Затем горячее. М-м-м! — Она закатила глаза. Перешла на жаркий шепот. — И под конец самое дорогое блюдо, но и самое вкусное — десерт. Пять патронов. Что вы так побледили? Вам нечего бояться, ведь вы всегда можете остановиться, не закончив трапезы.

Миша хоронили в закрытом гробу. Как косметолог из похоронной гостиницы ни старался, невозможно придать благопристойный вид человеку, который снес себе пулей полчерепа. Несмотря на скандальность смерти (а может быть, именно благодаря ей) людей собралось много.

— Ничего не понимаю, — сказал президент юридической компании, пожимая руку вдове, на лице у которой заоченела (вероятно, теперь уже до конца жизни) растерянная полуулыбка. — Не было никаких резонансов, абсолютно никаких... Экспертиза установила, что перед выстрелом он вертел барабан револьвера. Из шести гнезд пустым было только одно. Даже для русской рулетки это чересчур.

Похороны были солидные. Один бывший клиент покойного даже прислал самолетом из Нефтеюганска саженец сибирской сосны. Вязы на 49-м участке пока были совсем маленькие — когда еще вырастут, а северная сосна в бруклинском климате вымахает быстро.

По трогательному русскому обычаю каждый бросил на крышку гроба по пригоршне сеянного белого песка, заготовленного кладбищенским менеджментом в специальных серебряных ведрах.

Последней к яме подошла женщина в черной вуали. Никто из присутствующих ее не знал, но некоторые из мужчин давно уже не сводили с нее глаз.

Женщина кинула на горку белого песка горсть черной земли и положила к краю могилы лиловую фиалку.

## Еврейское кладбище на Масличной горе в Иерусалиме Умер-шмуер, или Нестрашная смерть

Не странно ли: когда книжка уже подошла к концу, только-только начинаешь понимать, зачем тебе понадобилось писать про кладбища и мертвецов. То есть, раньше чувствовал, что *нужно*, но не понимал, зачем — просто тянуло, и всё. А в некий солнечный день, стоя на невысокой горе и глядя на увенчанный мусульманским золотом еврейский город, вдруг наморщишь лоб, да и сообразишь, что к чему.

Собственно, не Бог вещь какая неожиданность: оказывается, ты рыскал по старым кладбищам, потому что достиг возраста, когда хочется разобраться в природе смерти. Нет, не совсем так. В природе таинства разобраться нельзя, на то оно и таинство, чтобы не иметь никакой природы. Вернее будет сказать: тебе хотелось понять, что такое страх смерти. И, может быть, благодаря этому раз и навсегда от него избавиться. Или, по крайней мере, получить надежду на то, что это в принципе возможно. Примерно так.

Но по порядку.

Стало быть, стоишь на западном склоне Масличной горы, обращенном к Храмовому холму. Город Иерусалим притягивает взгляд, и рассматривать кладбище, ради которого тащился за тридевять земель, совсем не хочется. Кладбище тебе сильно не нравится. Оно и не предназначено для того, чтобы нравиться. Смотреть тут не на что, трудно представить себе зрелище более унылое и безжизненное, чем эта сухая земля, кучи мусора и плоские камни.

Однако не уходишь, потому что обидно — слишком уж долго сюда добирался. И еще потому, что начинаешь чувствовать: в этом прахе и соре есть некий message, адресованный персонально тебе. Какое-то время пытаешься его расшифровать. Прикидываешь: чем-то похоже на Сад камней в киотском храме Рёандзи, где, как ни сядь, четырнадцать камней видно, а пятнадцатый всё время оказывается в мертвой зоне. Так в чем же здесь, как говорится, «фишка»? В непостижимости Небытия? Может быть, в самом словосочетании «мертвая зона»?

Нет, кажется, не то.

Еще немножко поумничаешь, потом забываешь про message и просто смотришь по сторонам, вспоминая всё, что прочитал перед поездкой об этом кладбище. И тогда, через какое-то время, перестаешь думать о прошлом и начинаешь думать о будущем.

Конечно, не сразу, не сразу.

Итак.

По концентрации священных мест Масличная гора может поспорить с расположенной напротив Храмовой. Христиане чтут ее из-за Гефсиманского сада, из-за гробницы Девы Марии, а более всего из-за того, что с вершины этого холма Иисус вознесся на небеса. Для иудеев вышеперечисленные святыни ничего не значат, но зато здесь, над Иосафатовой долиной, расположены гробницы пророков и главное иудейское кладбище, лечь в землю которого мечтает всякий благочестивый еврей.

Древнейшая часть самого знаменитого в мире некрополя внизу, в расщелине, где протекает неубедительная речка Кедрон (я ее вовсе не видел — говорят, она то появляется, то исчезает). Там выстроены в шеренгу каменные мавзолеи, каждый из которых имеет своего мифического обитателя и называется соответствующим образом.

Вот наиболее прославленные из них.

В гробнице с конической крышей якобы погребен царевич Авессалом, отличавшийся такой

замечательной волосатостью, что состригал в год растительности на «двести сиклей весу царского». И восстал Авессалом на отца своего царя Давида, и был разбит в сражении, и погиб, зацепившись своей уникальной куафюрой за сук. В путеводителе написано, что в прежние времена еврейские и арабские жители Иерусалима в осуждение непочтительного сына бросали внутрь склепа камни, но бездонная могила никогда не наполнялась.

Тут, собственно, всё неправда. В Библии сказано: «И взяли Авессалома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней». Усыпальница находится отнюдь не в лесу и, подобно остальным мавзолеям, явно построена в более позднюю эпоху, так что царевич здесь погребен быть не может. И камней евреи туда тоже не бросали — эти древние гробницы использовались сефардской общиной для торжественного захоронения истребавшихся священных книг.

Однако в Палестине нельзя быть слишком дотошным и придирчивым к традиционным повериям, иначе рискуешь остаться вовсе без святынь. Христианская сакральная топография выдумана по большей части в ранневизантийский период, еврейская — на несколько веков ранее. Но в конце концов, так ли уж важно, в каком именно месте находились Голгофа и Гефсимания, да кто где похоронен? Главное, что многие поколения верили в подлинность этих атрибутов Божественной Истории, а искренняя вера, если ее очень много и она длится столько веков, имеет свойство не только аккумулировать духовную энергию, но и обретать материальность.

Например, смотришь на красноватые пятна, которыми испещрены стены кубообразной гробницы пророка Захарии, и веришь, что это в самом деле засохшая кровь иерусалимских жителей, истребленных вавилонянами, потому что совестно подвергать сомнению легенду, которой две тысячи лет. Нечестивый Иоас, царь иудейский, велел побить пророка камнями, но в час своей гибели Захария предвестил соотечественникам грозное возмездие, которое в положенный срок и свершилось.

Разумеется, никакой Захария в гробнице своего имени не похоронен, как и царь Иосафат в соседней гробнице Иосафата. Все эти прозвания возникли относительно недавно, в средние века. Ради кого возводились мавзолеи, неизвестно. Доподлинно установленным можно считать лишь происхождение гробницы Иакова, над дорическими колоннами которой в середине 19 века разобрали полустершуюся надпись, которая гласила, что склеп принадлежит священническому роду Хезир.

Я приезжал на кладбище дважды, с полугодовым интервалом. В первый раз передвигался снизу вверх, от древних мавзолеев к обычным могилам, расположенным амфитеатром. Этот порядок следования логичен и хронологичен, но ошибочен. Прославленные гробницы не имеют ничего общего с духом и смыслом некрополя; они вводят посетителя в заблуждение, поворачивают восприятие совсем не в ту сторону. После них, глядя на собственно кладбище, испытываешь лишь скуку и разочарование, да и подъем по довольно крутому склону, на жаре, не настраивает на философический лад. Я в тот раз ничего про кладбище не понял. Первое посещение вышло неудачным, я решил его не засчитывать.

Сызнаова оказавшись на Масличной горе, я учел ошибку — намеренно двигался сверху вниз. На каменные шапки липовых Авессаломов и Захарий старался вовсе не смотреть, на Иерусалим тоже особенно не заглядывался.

В верхней своей части кладбище напоминает раскоп какого-нибудь древнего города, от которого остались лишь контуры стен и фундаментов, изъезвленные временем. Вокруг каменные осколки, куски плит, просто груды щебня, поодаль шныряют костлявые, деловитые дворняги.

Я, конечно, слышал, что могилы были осквернены арабами, когда Масличная гора оказалась вне юрисдикции новообразованного Израильского государства. Часть плит просто расколотили, другие были использованы на покрытие иорданских дорог. Однако мне и в голову не приходило, что за время, миновавшее с 1967 года, никто не позаботился убрать следы разгрома.

Первое впечатление получалось странное: стоишь среди опозоренных еврейских руин; наверху — крыши арабской деревни Силоам, внизу панорама Иерусалима с нестерпимо сверкающим на солнце куполом Омаровой мечети. Это и есть вожделенное место, где мечтают упокоиться настоящие иудеи?

Евреи разных стран всю жизнь копили деньги, чтобы на старости лет «подняться» в Иерусалим и умереть здесь. По иудейскому обычаю, мертвых хоронят быстро, не рассусоливают, поэтому умирать нужно вблизи облюбованного кладбища, из-за моря везти тело никто не стал бы, уж во всяком случае в доавиационную эпоху.

Еврей приезжал в Вечный Город, покупал у турецких властей право выбрать участок — чем ближе «к Захарий», тем дороже, а еще очень важно, чтобы могила была «в тени Храма», то есть, чтобы на закате ее накрывала тень Храмовой горы. Доживал своё (обычно не слишком долго — сказывался тяжелый климат), умирал, и члены погребального братства «Хевра кадиша» в тот же день или, самое позднее, на следующий, закапывали счастливца в священную землю.

Иудейская вера находится в менее определенных отношениях со смертью, чем христианство, ислам или буддизм. Что будет Потом, в религиозных книгах не сказано; такое ощущение, что иудеев это не очень-то

интересует. Траур — жанр нееврейский. Здесь не только быстро хоронят, но и не выставляют свою скорбь напоказ. Мне показалось, что это кладбище не предназначено для поминовений и рыданий. Оно и понятно: если бы народ Израиля стал долго и с надрывом оплакивать своих мертвых, то ему с его историей ни на что другое не хватило бы ни времени, ни сил. Для плача определены другое место и другая причина: скорбеть положено на противоположном холме, у Стены Плача, и не об умерших, а о разрушенном Храме.

Меня же умершие занимали гораздо больше, нежели разрушенный Храм. В конце концов я повернулся к Иерусалиму спиной, чтоб не отвлекал. И правильно сделал. Когда в поле зрения остались только приземистые, почти неотличимые друг от друга надгробья, я смог представить Масличную гору со всем ее невидимым глазу содержимым: миллион скелетов, лежащих плотно, в много слоев; под ними древние пещерные захоронения (их здесь должно быть великое множество); а еще ниже, в самом чреве горы, те самые подземные ходы, на право соседствовать с которыми религиозные евреи копили деньги всю свою жизнь. Сказано в «Книге Иоила»: «Я соберу все народы, и приведу их в Долину Иосафата, и там произведу над ними суд...» В Страшный День по тесным и темным галереям Масличной горы мертвые всего мира будут скатываться сюда, в долину. А потом Господь встанет на вершине, где-то возле нынешней церкви Вознесения, и гора раскроется, и восстанут мириады усопших, и свершится суд над всеми людьми.

В кладбищах, которые я выбрал для своей книги, есть одна общая черта, очень для меня существенная: на них или вовсе нет новых могил, или же они составляют ничтожный процент от общего числа захоронений. Предмет моего исследования — не кровоточащие раны, а затянувшиеся шрамы; не боль утраты, а смерть, подернутая патиной времени и оттого уже не пахнущая разложением. Я входил в кладбищенские ворота не для того, чтобы соболезновать и ужасаться, а для того, чтобы понять то, чего не понимал прежде. Несколько раз случалось, что старое кладбище, по всем признакам вроде бы вполне подходившее для моих целей, отпугивало меня погребальными венками на могилах или скорбной фигурой у свежезарытого холмика — и я поспешно уходил, зная, что это место мне не подойдет, там всё забьет острый запах трагедии и страха.

Так вот, Масличная гора — единственное исключение. Это не культурно-исторический памятник, а вполне активный участник израильского ритуально-коммунального (или как там оно называется) хозяйства; доля новых захоронений здесь довольно велика, но — удивительная вещь — мой чувствительный нос не уловил в воздухе никаких устрашающих ароматов.

*Здесь не боятся смерти,* вдруг понял я. И не потому, что она случилась слишком давно, как на Старом Донском или Хайгейте, а *просто не боятся и всё.*

Может быть, дело в самодовольстве? Пока другие народы будут тащиться сюда по тесным подземным лабиринтам, здешние покойники уже заняли все лучшие места — так сказать, расположились в самом партере.

Нет, пожалуй, самодовольство ни при чем. Это скорее про Новодевичье кладбище, попасть на которое считалось достойным завершением советской номенклатурной карьеры. Там всё напоказ: и голубые ели, и огромные памятники, и золотые буквы в пол-аршина, и военная техника на маршальских саркофагах.

А на Масличной горе помпезности нет и в помине. Никаких скульптурных красот. По могиле невозможно понять, бедным или богатым, прославленным или безвестным был тот, кто здесь похоронен. Отсутствует непрменный бордюр из деревьев и кустов, повсюду лишь голая земля и камни — библейский «прах и тлен». При этом дело вовсе не в бесплодии почвы — вокруг зелени сколько угодно, но она вся за оградой. Значит, пустынность и непривлекательность задуманы, нарочиты.

Кладбище плохо приспособлено для посещений всей семьей — в черных костюмах и строгих платьях, как в Японии, с цветами и вином, как в Италии, или с бумажными букетиками и водкой, как в России. Другие некрополи существуют для того, чтобы живые как можно дольше не забывали своих мертвых и почаще приходили к ним на могилы. Другие, но не этот. Даже в нижней его части, поддерживаемой в относительном порядке, почти нет дорожек, скамеек же я не обнаружил вовсе. Каменные надгробья явно не рассчитаны на вечность — через пятьдесят, много сто лет они вrastут в землю или рассыплются на куски. Еще раньше сотрутся неглубоко вырезанные буквы. Ну и пусть, это неважно. Важно, что ты лежишь именно здесь, что ты занял место у самой двери, и когда начнется Прием, окажешься одним из первых.

Местные покойники не размениваются на пустяки вроде внимания со стороны родственников и потомков, они заняты серьезным делом: лежат и ждут.

До меня дошло: это кладбище не что иное, как огромный зал ожидания. Ожидания спокойного и уверенного. Почему уверенного? Да потому что здесь похоронены евреи, исполненные ощущения правильно прожитой жизни. Ведь, если у человека есть основания бояться Божьего Суда, разве стал бы он занимать место в первых рядах? Покойникам Масличной горы не о чем скорбеть и нечего бояться.

И когда я понял это, мне сначала сделалось завидно. А потом я перестал думать о прошлом и стал думать о будущем, когда все кладбища станут похожи на это. Не по внешнему виду (упаси Боже), а по смыслу и настроению.

Произойдет это тогда, когда человечество исполнит главную свою мечту, даже если люди,

способствовавшие ее воплощению, имели совсем иные цели.

Главная мечта человечества — избавиться от страха смерти, а вместе с ним и от всех прочих страхов. Это означает не вообще уничтожить смерть, а исключить смерть неожиданную, непредсказуемую и преждевременную, которая обрушивается на человека, когда он еще не насытился жизнью и не выполнил свое предназначение. *Подчинить себе смерть* — в конечном итоге, именно таков магистральный стимул науки, прогресса и общественной мысли.

Предположим, что цель достигнута. Человеку больше не угрожает смерть ни от болезни (все хвори побеждены), ни от насилия (войн и преступности больше нет), ни от стихийных бедствий (предсказываемых и обезвреживаемых заранее), ни даже от несчастных случаев (уж не знаю, каким там образом). Когда смерть перестанет внушать страх и восприниматься как зло, можно будет считать, что человечество свой путь благополучно завершило и вернулось в Эдем.

Каждый сам станет решать, не хватит ли ему, не пора ли на покой, на Масличную гору — потому что человек наполнился жизнью, как колос зерном, и устал от нее. Такая смерть не будет ни противоестественной, ни трагичной, и прав окажется царь Соломон, сказавший: «День смерти лучше дня рождения».

Если я верно понимаю смысл иудейской религии, она вся про это: жить как можно дольше и жить по правилам (то есть правильно), чтобы потом умереть *с чувством глубокого удовлетворения*. И спокойно лежать себе в могиле с видом на Храмовую гору, бестрепетно дожидаясь Суда — может, для кого-то и страшного, но только не для нас.

## Хэппи-энд

— Послушай-ка, что пишут в «Научном вестнике», — сказал Очень Старый Писатель. Давно уже Жена Очень Старого Писателя не видела его таким оживленным. С тех пор, как он закончил свою последнюю, сто пятидесятую книгу и объявил, что больше писать не будет — мол, «чернила внутри закончились». — Нет, ты только послушай! Японцы завершили исследование психофизиологических аспектов *синдзю* — ну, ты знаешь, двойного самоубийства влюбленных. Проанализировали письменные свидетельства и хроники, вскрыли старые захоронения...

— Какие еще захоронения? — перебила она, уже догадавшись, куда он клонит. За сто два года совместной жизни, слава Богу, научилась понимать мужа с полуслова и даже вообще без слов, и потом в последнее время Очень Старый Писатель говорил только об одном. — Какие у японцев могут быть захоронения, если они буддисты и всегда сжигали своих покойников?

— Ты поучи меня насчет Японии, энциклопедиста, — оборвал ее он. — Вплоть до двадцатого века там кремировали лишь священнослужителей и мертвецов из состоятельных семей, всех прочих закапывали в землю. В конце периода Мэйдзи, если мне не изменяет память, доля кремаций составляла всего 29,8 процента.

Память Очень Старому Писателю, разумеется, не изменяла — после курса ноорегенерации работала лучше, чем в молодости. Лечение он прошел четырнадцать лет назад, но всё не мог привыкнуть, без конца щеголял цифрами и всякими датами-цитатами. То же самое было полвека назад, когда ему имплантировали белоснежные зубы — на радостях так разулыбался, что вмиг обзавелся двумя глубочайшими носогубными морщинами, стал похож на орангутанга. Пришлось эти некрасивые складки убирать.

— Ты слушай, не перебивай. Хроники и эксгумации — это ладно. Тут главное в другом: японцы тщательно изучили показания и психogramмы несостоявшихся суицидентов — тех, которые, пройдя стадию клинической смерти, были возвращены к жизни. Все эти данные хранились с начала века, когда ученые впервые всерьез заинтересовались метаморфозами сознания за пределом биологического конца жизни. Ты помнишь, в двадцатые это считалось самым модным направлением науки?

— Нет, в двадцатые все спорили из-за законов по клонированию, чуть не переубивали друг друга. — Жена Очень Старого Писателя поправила перед зеркалом локоны, скосила глаза в левую половинку трюмо — не висит ли подбородок. Нет, ни капельки. Вот что значит хорошая клиника. — Ты помнишь этих оголтелых? Они тебя чуть не разорвали. Господи, как это было ужасно!

— Как это было чудесно, — вздохнул муж. — Подумать только — было время, когда люди враждовали из-за различий во взглядах. Но ты опять меня перебиваешь. Я ведь не про политику говорил, а про медицину. В двадцатые все вдруг возжаждали не религиозных, а научных сведений о посмертном существовании. Помнишь, сколько было статей, книг, фильмов!

— Да помню, помню. А потом уперлись в этот самый туннель, в сияющий за ним свет — и дальше ни шагу.

Регенерация регенерацией, но от старости никуда не денешься, подумалось ей. Всё время повторяем одно и то же, рассказываем друг другу вещи, отлично известные нам обоим. Он прав: *всё уже было*.

— Да, да, — возбужденно ходил по комнате Очень Старый Писатель. — Достоверность на этом закончилась, пошли одни гипотезы, так что пришлось отступить. И у науки есть свои пределы. Но знаешь, что выявил профессор Синигами, изучая материалы двадцатых годов? Оказывается, во время синдзю *душа поднималась по черному туннелю не одна*. Вдвоем! Ты понимаешь — вдвоем! Историки утверждают, что средневековые японцы об этом знали. Потому-то и практиковали двойные самоубийства. Они верили, что при одновременной смерти двух очень близких людей, «слитых душ», те окажутся вместе и после перерождения. Вот в чем был смысл всех этих самоубийств в Сонэдзаки и на Острове Небесных Сетей, а вовсе не в бегстве от житейской безысходности! Ученые двадцатых годов не занимались двойными самоубийствами специально, их интересовал посмертный опыт вообще. Показаниям участников синдзю, где упоминался «совместный полет», они не придали значения, списали на галлюциногенные aberrации. А профессор Синигами выделил одни только синдзю, сопоставил данные, проанализировал. Опыт посмертного *со-ощущения* наблюдался в 37 процентах случаев!

Жена Очень Старого Писателя взяла лейку, стала поливать цветы, сделав вид, что его слова ее нисколько не впечатлили.

— Ну и зачем ты мне это рассказываешь? Какая разница, что там соощущали твои полоумные японцы?

Хотя сама знала, что разница есть. Совместный полет?

— И потом, что такое 37 процентов? — сухо сказала она. — Всего одна треть. А мы с тобой возьмем и не соощутимся, попадем в остальные две трети. Это ведь тебе не рулетка — поставил не на ту ячейку, и черт с ним!

Очень Старый Писатель заговорил вкрадчиво, бархатно:

— Да ты учти, в начале века влюбленные самоубийцы были людьми молодыми, максимум на седьмом десятке. Что это за возраст? И потом, страсть — это тебе не любовь. И уж тем более не сто два года совместной жизни. Мы с тобой давным-давно превратились в сиамих близнецов, нас никакой туннель не разделит... Ну ты же мне обещала, слово давала! На Новый Год, помнишь?

— Мало ли что я обещала, — отвернулась она, придиричливо разглядывая листочки традесканции — кажется, начали сохнуть. — Напоил старую женщину шампанским, замурлыкал в ухо. Да и не помню я, чтоб слово давала.

— Ну как же! Ты говорила: «Только дождемся, когда в саду расцветут ирисы, и тогда уже можно». Отцвели твои ирисы. Не очень-то ты им и обрадовалась. Сказала: «Развести вместо них, что ли, орхидеи?» А потом вспомнила, что орхидеи у тебя уже были, еще до эпохи кактусов. Всё уже было, девочка. Всё. Ей-богу, стыдно жить на свете, когда всё по десятому разу. А там, на той стороне, свет. Он нас заждался, я это чувствую, ах, как я это чувствую! Мы полетим туда вместе, и вдвоем нам не будет страшно.

— Но ведь наука так и не установила, что это за свет на той стороне туннеля. Вдруг там что-нибудь ужасное? — сказала Жена Очень Старого Писателя, начиная поддаваться, потому что всегда поддавалась, когда он говорил с ней *этим* голосом — так за сто два года ничему и не научилась, старая дура.

— Что может быть ужасного в лучезарном свете? Ты ведь помнишь, как очевидцы — люди, которые оттуда вернулись, — описывают восторг, охвативший всё их существо? Да и потом, — в выпцветших глазах Очень Старого Писателя сверкнули искорки, чего она не видела уже много-много лет. — Ужасное — это так интересно! С тобой и со мной столько лет не происходило ничего ужасного! Представляешь, попадаем мы с тобой в сияющий чертог, а грозный глас как возопит: «Ага, голубчики, сейчас вы мне за всё ответите!»

Задрезжал своим кашляющим смехом — и всё испортил.

— Ну тебя с твоими дурацкими разговорами, — отрезала она. — Лучше бы щенков покормил. Расплодил живности, а теперь отлыниваешь.

И Очень Старый Писатель отправился на псарню — с явной неохотой. А ведь когда-то мог возиться с собаками по несколько часов кряду, не дозовешься. Сколько было радости, когда рождались новые щенки...

Она вышла на веранду с книжкой. Половина четвертого, еще только половина четвертого. Дни стали бесконечно длинными, потому что для сна ей теперь хватало трех часов, а дел в общем-то никаких, кроме тех необязательных, какие выдумает себе сама. Все дела давно сделаны, все цели достигнуты. Дети? Смешно сказать — «дети». Им перевалило за сто. Для нее когда-то это был тяжелейший психологический рубеж, но они из другого поколения, им все нипочем. Вот внуки — те больше похожи на нее и мужа. Не странно ли, что с внуками возишься куда больше, чем когда-то с собственными детьми? На правнуков заряда уже не хватает. Тем более на праправнуков. А уж что касается прапрапра... Тут Жена Очень Старого Писателя сбилась, запутавшись в приставках. Или «пра» — это не приставка? Ах, какая разница.

Открыла книгу, «Николаса Никльби». Наверное, в тысячный раз. Давным-давно не читала новой литературы, только перечитывала старую. Не для того, чтобы погрузиться в жизнь хорошо знакомых героев, а чтобы воскресить прежние ощущения. Но и это удовольствие приелось, иссякло, хотя книги теперь научились издавать совсем, как во времена детства: с коленкоровым корешком, а дисплей на вид и даже на ощупь совсем как бумажная страница.

Кап, кап!

Донесся звонкий, прозрачный звук.

Она рассеянно подняла голову. Под водосточной трубой стояла широкая медная ваза, в ней плавали лепестки. Однажды, уже не вспомнить сколько лет назад, она увидела такое в одном японском храме: садовники там не выметали опавшие лепестки сакуры, а собирали их и ссыпали в чаны, наполненные водой. У себя в саду она делала то же самое. Раньше — потому что это казалось красивым; в последние годы просто по привычке. Ну вода, ну в ней разноцветные лоскутки.

Сделала шрифт покрупней, щелкнула кнопкой, перелистнув страницу.

Кап!

Ночью был дождик, из водостока время от времени скатывались припозднившиеся капли. Ваза наполнилась до самых краев, но вода не переливалась — набухла, выпятилась посверкивающим куполом, но не стекала. Точно так же выгибался на горизонте океан, когда они в первый разплыли вокруг света. А звук капли — тоже что-то очень знакомое. Ах да, прятались от дождя в заброшенной церкви, под Псковом. Кончился бензин, вышли пройтись, и вдруг короткий ливень. Смешное, забытое слово — «бензин»... Да нет же, нет, это было в Венеции, в девяносто втором. Тек кран в ванной, но это не раздражало, потому что молодые, потому что первый раз в Венеции. Она просыпалась всякий раз, когда из ванной доносился тихий звон капли, и снова засыпала счастливая.

Кап!

С края вазы сорвался тонкий ручеек, запетлял по неровной красноватой поверхности.

И как-то спокойно, вяло подумалось: что ж, пожалуй, и вправду пора.

1999–2004



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.	Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.
<b>«Strelbytskyy Multimedia Publishing»</b>	<b>«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»</b>
Saksaganskogo str., 58, office 8 Kiev, Ukraine, 01033	ул. Саксаганского, 58, оф.8 Киев, Украина, 01033
tel. +38044 331-06-20 e-mail: ds@strelbooks.com	тел. +38044 331-06-20 e-mail: ds@strelbooks.com

**Электронная книга издана  
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг вы можете ознакомиться на сайтах:

[www.andronum.com](http://www.andronum.com)

[www.strelbooks.com](http://www.strelbooks.com)

Желаем приятного чтения!

Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: [dmytro.strelb@gmail.com](mailto:dmytro.strelb@gmail.com)

**Эта книга охраняется авторским правом**

**Copyright © 2017**

**«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»**